Василь Быков

Колокола Хатыни

Василь Быков

Колокола Хатыни

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987



84. Бел
Б95

Предисловие
И. Г. Штокмана

Б $\frac{4702120000-1521}{080(02)-87}$ 1521—87 84. Бел

Текст печатается по изданию: Василь Быков. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4.— М.: Молодая гвардия, 1986.



ВЕЧНАЯ СИЛА ПРАВДЫ

О чем повести Василя Быкова?

Лежат у безымянного железнодорожного переезда бойцы, малая горстка, ждут наступающего врага, чтобы, вступив с ним в неравный бой, выполнить то, что выпало на их мужскую и солдатскую долю...

Вязнет в черной болотной жиже Левчук, окруженный волчьей стаей карателей, захлебывается, измотан до последнего, но упрямо помнит про ребенка, жизнь которого он решил спасти...

Сельский учитель Мороз добровольно кладет голову на плаху, отдает себя в руки врагов, дабы не разочаровались в нем его ученики и не пропали бы втуне семена гуманизма и веры, посеянные в их душах...

Скажут: Человек и Война... Да, формула верна, но несколько обща. Под рамкой этого прицельного перекрестия, внутри фабульных ситуаций и обстоятельств живет в прозе Василя Быкова и обжигает нас проблема более конкретная: Человек и Долг. Две взаимопитающие друг друга силы, поскольку, по Быкову, без чувства долга человека просто... не существует. Он деградирует, саморазрушается.

В этом смысле нравственно-философская альтернатива повестей Быкова весьма проста. Другое дело, что она как всякая истинно глубокая идея способна к саморазвитию, самообогащению... Потому, например, в «Сотникове», когда мы видим, как один из попавших в плен партизан помогает вешать другого, то приходим к финалу, лишь пройдя по виткам скрупулезного, точнейшего и жутковатого психоанализа душевного падения Рыбака, его нравственной смерти при живой еще плоти... Видим, как убивает себя человек, как гибнет он, замкнувшийся на себе, лишенный глубокой и осознанной связи со всем тем, что находится вне его примитивно-прагматического «я».

Почему речь здесь идет о повестях, тогда как предисловие это написано к публицистике Быкова, а не к его прозе?

Быков — писатель очень последовательный, очень цельный, и очерки, статьи его вовсе не открывают нам «другого Быкова», не тот, как говорится, случай, хотя подобное, увы, бывает... Бывает, когда есть лукавство. Хоть малейшее; масштабы не имеют значения. Тогда что-нибудь начинает обязательно «плыть» — либо собственные писательские высказывания, в которые ты не очень-то веришь, ознакомившись с его художественными творениями, либо сами эти творения, разительным образом отличающиеся от теоретических постулатов и призывов того же автора... Не веришь, видишь «шов», разницу. У Быкова этого нет.

Он не только последователен и един, он еще и подчеркнуто един — в публицистике его та же определенность, даже ужесточенность суждений, что и в прозе.

Единству этому есть обоснование...

В «системности» повестей Быкова (а они и впрямь составляют систему, что неоднократно отмечала критика) остро ощутимы постоянство и неподдельная серьезность авторского взгляда, его сосредоточенность на самой основе того или иного характера и на том, как он «аукается» с окружающей действительностью, другими судьбами и людьми.

Идея ответственности, неотрывная от проблемы «человек и долг», всегда прорастает сквозь текст повестей Быкова, и тут нет и не может быть никакого лукавства, никаких «полутонов» и растушевки... Всегда: или-или. Либо герой берет ответственность на свои плечи, как бы ни была она трудна и тяжела, и тогда он, в системе идейно-нравственных координат прозы Василя Быкова, подлинный и настоящий человек, либо он увиливает всячески от подобной ноши, что, может, ему и удастся, но зато уж от авторского трезвого взгляда и суда ему никуда не деться.

Подчас я думаю, что Василю Быкову, наверное, нелегко дается суровый ригоризм его повестей, когда душа и сердце не могут позволить себе ни малейшей передышки, расслабления... Нравственные конфликты его повестей стянуты таким страшным кровоточащим узлом, что их никак не развязать, только разрубить. Отсюда и безжалостно однозначный выбор, его стальной холодный блеск...

Это литература очень жестокая, выросшая из единства весьма определенных концепций, симпатий и антипатий и в том идейно-нравственном «пейзаже», который она целенаправленно рисует. Автор должен чем-то очень сильно дорожить, что-то

очень сильно любить, чтобы так нагружать уже не первый десяток лет свой мозг, память и душу.

Что же?

Подлинность... То единственное, что всегда кроется, лежит в основе тех или иных явлений, ситуаций, а все остальное — уже производное, напластования.

Потому-то, кстати сказать, повести Быкова всегда так центростремительны; авторский раскоп постоянно идет в глубь описываемого, к его истокам и причинам — *почему* произошло то или иное событие, *отчего* один герой поступает так, а другой — совершенно иначе и по-иному не то чтобы не хочет — не может...

Согласимся — это уже не просто «нестираемая память о войне», скорее, это поиск в войне, в самой ее стихии, каких-то вечных, неизменных законов, определяющих смысл и ход человеческой жизни, самой ее *направленности,* верной и благотворной, или — самопагубной и разрушительной для окружающих.

Ищется модель поведения личности, неразменный и нескудеющий символ человеческой веры, одинаково и насущно нужный на все времена, и военные и мирные.

За истинами Василя Быкова — не один лишь военный опыт и память о нем... И опыт и память как бы усилены здесь многократно, усилены и приближены к нам, поскольку нацелены всегда на одно — на жадную тягу автора к Правде, окончательной и однозначной, какой бы трудной и горькой она ни была...

Правда же неделима на «мирную» и «военную», и если уж и заняться — чисто теоретически — подобным разграничением, то «военная» сплошь и рядом лишь продлевала и заостряла правду «мирную».

Об этом, кстати сказать, многие повести Быкова, они красноречиво говорят о взаимоотношениях этого писателя с самой категорией Правды, но наиболее ярко страстная приверженность Быкова к ней, истовое и верное ей служение видны все же в жанре публицистики... Здесь все напрямую, здесь прекрасно виден человек и писатель Василь Быков, изъясняющийся с нами без «посредников», без своих героев и своих сюжетов, но остающийся при том все время как бы в русле созданной им прозы. Тот же голос, те же интонации и, что самое главное,— те же мысли, та же идейная убежденность... Это постоянство стоит, конечно, многого, поскольку лишний раз доказывает выношенность, истинность и «личную мотивированность» прозы Василя Быкова. Читая публицистику этого писателя, мы то и дело видим как бы идей-

ный исток его повестей, нам становятся ясны жестко определенный их «рисунок», их нравственная яростность и категоричность.

Что, например, подчеркивает Василь Быков, когда пишет «монографические» очерки о тех авторах, которые особенно близки его сердцу, и кого же он при этом выбирает, чьи творческие портреты пытается создать?

Вот этот список... С. Залыгин, Я. Купала и Я. Колас, А. Твардовский, С. Смирнов, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, кинорежиссер Л. Шепитько, А. Адамович, художник М. Савицкий, авторы фильма «У войны не женское лицо» В. Дашук и С. Алексиевич...

Приверженность к этим творческим судьбам открыто мотивирована и вызвана, в общем-то, двумя важнейшими для Василя Быкова обстоятельствами: самостоятельностью, оригинальностью самого художественного мышления этих художников, способа их существования в искусстве, литературе и мерой верности Правде.

Можно, пожалуй, даже сказать, что в соответствии с основной, любимейшей идеей Быкова, той, что отчетливо видна в его публицистике, два этих мерила едины. Только их синтез и обеспечивает художнику право на признание, заслуженное и прочное.

Ведь, как замечено в очерке Быкова об Александре Твардовском, «литература создается не на один день и не для потреб какой-либо из очередных кампаний — ее жизнь измеряется десятилетиями, и каждая книга живет тем дольше, чем больше в ней заложено от правды народной жизни».

Сказано, как видим, весьма определенно, с той исчерпывающей простотой, в которой ничего нет от риторики, а все от смысла, настойчивого хода мысли, которая обеспокоена более всего одним: передать себя читателю без потерь, достучаться до него...

Так написана вся публицистика Быкова, и если мы, ознакомившись с ней, оглянемся затем на его повести, то увидим, что почерк един, принципиально сходен.

Василь Быков, видимо, относится к тому типу писателей (не столь частому, кстати), для которых «самосоответствие» равно важнейшему, если не единственному условию творчества.

Оттого Быков и в публицистике сплошь и рядом ведет речь о том, про что его повести написаны, обращаясь снова и снова к однозначности любимых своих категорий: долг перед народом, мужество и честность, верность себе и правде...

В очерке о Твардовском он, например, говорит прямо, что «кристальную по классической чистоте поэтику Твардовского

более всего отличает от множества других несомненных талантов его необычайная и неизменная во времени верность таким *многоопределяющим в литературе категориям, как Правда, Простота и Искренность»* (курсив мой.— *И. Ш.).*

Эти же категории сполна приложимы и к повестям самого Василя Быкова. Не случайно очерк об Александре Твардовском называется «Слово об учителе», о человеке, чья жизнь в литературе была для Быкова — да и для него ли одного! — ориентиром, вехой.

В очерке «Все минется, а правда останется...» рассказано о той нелегкой для писателя поре, когда сыпались на его голову малодоказательные, но безапелляционные критические суждения и приговоры, обжалованию не подлежащие... Тяжесть подобного положения усугублялась еще и тем, что многие критические залпы приходились по журналу, взявшему на себя смелость и ответственность печатать произведения Василя Быкова, тем самым как бы поручившись за него перед всесоюзным читателем.

Словом, пора для писателя была совсем нелегкая, и тут пришел из Москвы конверт — обычное редакционное поздравление с праздником. От руки характерным угловатым почерком было дописано:

«Все минется, а правда останется. А. Твардовский».

«Время безостановочно правит и судит,— пишет далее В. Быков,— и ничто сущее под луной не в состоянии избежать его неумолимого приговора и в конце концов обращается в прах. Но правда ему неподвластна... *С правдой возможно все, без нее невозможно ничто. Без правды нет движения, без нее лишь застой, гибель, тлен...»* (курсив мой.— *И. Ш.)*

Снова тот же ракурс, тот же акцент, и не потому ли, говоря уже не о Твардовском, а о Сергее Смирнове, Быков считает своим долгом подчеркнуть писательскую позицию, которую Смирнов «умел отстоять... с непоколебимой принципиальностью».

Этот этический аспект и акцент напрямую смыкается с делами собственно литературными, когда заходит речь о прозе «военной», той, что посвящена событиям Великой Отечественной.

Василь Быков знает тут «материал», что называется, изнутри, и это обстоятельство имеет, как это не может показаться парадоксальным на первый взгляд, не только положительное значение... Мало ли было случаев, когда профессиональная «закрепленность» человека за тем или иным участком литературной деятельности, начинала диктовать ему свои незримые, но вполне определенные и жесткие законы, связанные с принятыми здесь «пра-

вилами игры». То-то — можно, то-то — нельзя; этот, конечно, «дал маху» с новой своей вещью, но, знаете, не стоит забывать прошлых его заслуг, да и вообще его положение, его роль и вес в нашем общем деле...

То есть в ход идут соображения и выводы «технологические» и прагматические, те, что держат «на плаву», позволяют считаться «своим», но к истинному положению вещей сплошь и рядом имеют весьма косвенное отношение... Это своего рода профессиональная болезнь, причем довольно опасная, поскольку имеет тенденцию к быстрому развитию, и трудноизлечимая; стоит хоть раз поддаться. А искушение довольно велико...

Надо располагать существенной и крупной, нескудеющей Главной Идеей, чтобы не растерять себя в погоне за успехом, погоне, съедающей личность писателя, его сердце и мозг. «Военный» прозаик Василь Быков такой идеей располагает: «Война... всегда была продолжением политики военными средствами и служила интересам власть предержащих. Наша же большая война, на полях которой решались судьбы планеты, имела другой характер и другие, отличные от предыдущих цели. Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам ее жертв, так и по отношению к будущему» («Свидетельство эпохи»).

Серьезное и честное осознание долга литературы, в том числе и «военной»,— основа нравственно-этического кредо Быкова... В этом смысле статья «Свидетельство эпохи» раскрывает нам главное в гражданской и писательской позиции этого автора. Когда в других публицистических работах Быкова мы видим сарказм по поводу «литературной красивости, задним числом сочиненных и всегда сомнительных диалогов», или «соображения о психологической достоверности чувства, которую невозможно имитировать, но надобно пережить», то отчетливо осознаем, откуда вышли все эти формулировки, где их почва и корень.

В том-то, видимо, и дело, что отношение Василя Быкова к самой проблеме долга, в ее теоретическом и в художественном преломлении, неразложимо на составные, носит характер единый и цельный... Лучшие, излюбленные герои писателя, которыми горда и сильна его проза, живут и действуют в полном и абсолютном согласии с теми принципами и суждениями, что обнаруживает Быков-публицист. Они всегда движимы тем же чувством долга, тем же его осознанием и осмыслением, которым руководствуется в своей работе и писатель Василь Быков...

Ведь это про всех своих героев разом сказано автором: «необходимость до конца оставаться человеком», а Сотников, например, мог бы прямо в лицо бросить Рыбаку фразу: «Прагматизм терпим, когда он не переступает социально-нравственных основ нашего человеческого общежития»...

Подобные постоянство и цельность могут кое-кому в наш технический изощренный литературный век показаться и старомодными и устаревшими, но Василь Быков заплатил за свой «консерватизм» очень дорогую цену. Он выбрал свою писательскую тропу, свое поле деятельности осознанно (вся его публицистика — ярчайшее тому подтверждение!) и, выбрав, ни разу себе не изменил, что бы там о нем ни писали, ни говорили...

Быкова пытались учить, как надо «правильно» писать о войне, но там, где о правоте и о праве есть собственное авторское и глубоко выношенное суждение, специалистам со стороны делать нечего... Они, правда, не прибавляют жизни радостей, но зато весьма способствуют основательности и стойкости самого писательского характера, и в этом смысле творческая судьба Василя Быкова — пример достаточно яркий.

Поэтому в статье с красноречивым названием «Все, что мы можем» есть слова очень определенные, не допускающие ни малейшей возможности какого бы то ни было двойного истолкования:

«Мы можем то, что мы умеем: писать. Все мы живем в свое время, и худое ли оно, хорошее ли — для нас другого не будет. И мы должны выполнить наше, как бы сказали в старину, «божеское предначертание» — *оставить после себя свидетельство об этом времени... Без спешки. Без лести и лукавства. Без желания потрафить во что бы то ни стало.* Мы должны помнить, чем заканчивались самые изощренные попытки на этот счет» (курсив мой.— *И. Ш.*).

Применительно к творческой биографии Быкова эти слова никак уж не назовешь голой теорией...

В публицистике Быкова есть несколько статей, относящихся к типу работ, именуемых обычно «Из творческой лаборатории писателя».

Кокетливое обозначение это, правда, не очень-то совпадает с манерой и почерком Василя Быкова. Его стилистика проста и естественна, и потому статьи, рассказывающие о работе писателя над той или другой повестью («Как была написана повесть «Сотников», «Несколько слов об «Альпийской балладе»), написаны весьма безыскусно.

Рассказано, в частности, о том, как и почему пришел писатель к этим повестям, какие эпизоды из его военного прошлого навели на мысль о них... Статья же «Как была написана повесть «Сотников» в высшей степени любопытна и ценна, на мой взгляд, и тем, что она, рассказывающая о предыстории создания повести, говорит еще и вообще о творческом лице Быкова, об основных чертах его работы в литературе.

Так, в одном из своих интервью, Быков замечает: «...Меня интересует в первую очередь не сама война, но главным образом нравственный мир человека, *возможность его духа»* (курсив мой.— *И. Ш.*). И далее: «Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, самоотверженность,— это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы войны питало героизм».

Эта «связь времен», а точнее — человеческая биография, соединяющая временные интервалы,— очень дорогая и важная для Быкова идея!.. Она видна у него почти всегда, позволяя нам судить об истоках, начале человеческой личности, ее сути и характере, но особенно, пожалуй, стала заметна в повестях «Знак беды» и «Карьер», новых произведениях Быкова.

В них не одна только война, но есть прорывы, выходы из нее в иное время, до и после Великой Отечественной. В повестях этих стала как-то особенно очевидна и неуклонная взаимосвязь событий и любимая мысль Быкова о «перетекании» нравственного обличья человека из одной ипостаси, одной внешней формы в другую, при общей и единой, однако, внутренней его сути... Сложившийся оформившийся человек — един. А время и события способны отразить лишь разные грани этого единства.

Человек не может уйти от себя, от того, что ценит и помнит его душа, и потому, например, Агеев из повести «Карьер» занят раскопками в старом, всеми забытом овраге... Он ищет и роет ход в свое военное прошлое, и возврат в те трудные, страшные и, похоже, самые главные для Агеева дни, когда по вскрытым пластам идешь вглубь все дальше и дальше, уходишь назад, в дни молодости.

Повесть «Карьер» захватывает, как я уже сказал, и день нынешний, нашу сегодняшнюю жизнь, в которой у Агеева, как и у всех нас, есть свое место, своя роль, а стало быть, и своя ответственность. Прямая, никем и ничем не снимаемая...

Агеев не может не заметить, что жизнь, идущая вокруг него, жизнь за склоном карьера, в котором он роется с утра до вечера,— очень трезвая, расчетливая, хорошо знающая, что нынче почем, и, главное, всегда отдающая в соотносимости целей и средств предпочтение и приоритет только целям!

Это страшит, не может не страшить, и в повести «Карьер» нота подобной тревоги звучит явственно... Она звучит сегодня, в конце восьмидесятых годов, но и в 1975 году В. Быков говорил прямо: «Литература должна, не переставая, бить в свои колокола, настойчиво пробуждая в людях потребность в высокой духовности, без которой любой самый высокий прогресс материальной культуры будет не в радость».

Это настолько приложимо к повести «Карьер», что кажется цитатой из сегодняшней рецензии на нее... Однако прошло более десяти лет. Это ли не еще одно доказательство цельности творчества Быкова, единства главной мысли, пронизывающей собой как его публицистику, так и прозу?..

Его публицистика, статьи и очерки и по стилистике своей очень напоминают повести Быкова... Особенно в тех случаях, когда речь идет о «своей войне», о тех днях, часах, конкретных эпизодах, которые оставались в военном прошлом писателя. «Тревожное воспоминание», «Много лет назад...», «Под Кировоградом»...

«...Танки уже расстреливали из пушек скирды, туда же устремились немецкие автоматчики. Сзади за ними на всем протяжении до кукурузы темнели распластанные тела убитых, некоторые из раненых пытались ползти. Из недалекого провала свежей воронки, пригнувшись, ко мне подбежал боец нашей роты, он был ранен в плечо, и правая рука его плетью волочилась по развороченному гусеницами снегу. Солдат плакал, матерился, но он помог мне выбраться с того поля в засыпанные снегом заросли подсолнуха, с трудом преодолев которые, мы очутились на едва приметной полевой дорожке».

Или: «Нас набралось здесь человек сорок. Второпях мы вырыли в рыхлом снегу неглубокие ямки, залегли. Очень скоро из балки появились танки, их было одиннадцать, при виде нашей цепи они замедлили ход, а затем и остановились вовсе... Они расстреливали нас, методически, аккуратно посылая по снаряду в каждого бойца, и спустя четверть часа вместо нашей цепи на снегу чернел ряд кровавых разрывов с разметанными вокруг комьями мерзлой земли» («Под Кировоградом»).

По всем явным и видимым признакам это типичнейшая быковская проза, скупая на слово, с простой и скромной фразой,

не бьющей на чисто внешний эффект, но стремящейся более всего к точности изображения, его предметности и наглядности... Мы вновь видим единство и цельность творчества Быкова, каким бы жанром оно к нам ни обернулась.

Давно известно, что творчество обнажает личность и что художника всегда видно в его творениях... Помню, что когда познакомился с Быковым, то очень скоро, еще и не закончив нашего первого с ним разговора, невольно подумал: «Как же он похож на героев своих повестей!..»

Та же определенность и даже резкость суждений, подчеркнутое неприятие всяческих полутонов, паллиативов; упрямое и, видимо, определяющее сущность этого человека постоянное желание понять прежде всего суть — явления ли, события, человека,— не отвлекаясь на частности, не давая им сбить себя с толку и обмануть, когда деревья не закрывают леса...

Нравственный максимализм его суждений, его повестей высок, суров и оправдан... Оправдан человеческой, писательской биографией Быкова, тем, как она сложилась и развивалась, серьезностью и важностью задач, которые видит перед собой писатель.

«...Что должна литература? Учить? Вряд ли. В наше время учителей-наставников достает и без литературы. Пробуждать чувства добрые? Но в области чувств мир дожил до ядерного топора, тут не до добрых чувств — не потерять бы рассудок от ненависти. Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики проповедовать истины, которые в другой, незанимательной форме, уже не усваиваются обществом? Чем больше размышляешь над этим и схожими с ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все больше склоняешься к единственно разумной возможности реалистического искусства: показать человеку человека таким, каков он есть, и пусть он сам решает, каким ему быть. Пусть он сам и выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наше время выражается предельно просто: жить или умереть».

Это из статьи «Главный жанр литературы». Она написана Василем Быковым о романе, о его путях и судьбе, но я думаю, что это высказывание — отличный образец и Главного Жанра этого писателя... Жанра требовательности и серьезности.

Нам дается честное и чистое зеркало... Смотрите, думайте, все остальное зависит уже от нас самих.

Игорь Штокман

КОЛОКОЛА ХАТЫНИ

Торжественно-траурный перезвон хатынских колоколов днем и ночью разносится по Белоруссии. Густой автомобильный поток с утра до вечера мчится по Логойскому тракту, устремляясь к лесной развилке с шестью огромными пепельно-серыми буквами — «Хатынь». Некогда глухая, ничем не примечательная деревенька стала народным памятником, образным воплощением скорби и героизма белорусов в их невиданной по напряжению борьбе с иноземными захватчиками.

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих побед. У французов есть Орадур, у чехов — Лидице. Символ безмерных испытаний белорусов — Хатынь, представляющая 628 белорусских деревень, уничтоженных в годы войны вместе с их жителями.

...Кровавая трагедия этого лесного поселища в 26 дворов произошла 22 марта 1943 года, догда отряд немецких карателей внезапно окружил деревню. Фашисты согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. 149 человек, из них 76 детей, навечно остались в этой адской могиле.

Солнечный мартовский день сорок третьего года оказался последним днем Хатыни, но страшная участь ее, как и многих других деревень Белоруссии, была предначертана задолго до ее фактической гибели.

Скрупулезно разрабатывая многочисленные аспекты войны против Советского Союза, Гитлер вместе с судьбой всего белорусского народа учел и Хатынь. Согласно плану «Ост», принятому фашистской верхушкой в 1941 году, три четверти белорусов предусматривалось выселить с занимаемых ими территорий, а остальных онемечить, превратив в безмолвных рабов немецких колонистов. Но, к удивлению гитлеровских заправил, этот народ, один из «тишайших» и миролюбивых народов Европы, проявил такую несокрушимую стойкость, что еще в начале войны поставил в немалое затруднение руководство фашистской Германии. Имперский министр по делам оккупированных восточных областей небезызвестный А. Розенберг в одном из своих выступлений жаловался: «В результате 23-летнего господства большевиков население Белоруссии в такой мере заражено большевистским мировоззрением, что для местного самоуправления не имеется ни организационных, ни персональных условий» и что «...позитивных элементов, на которые можно было бы опереться, в Белоруссии не обнаружено».

Да, действительно, трудно было обнаружить «позитивные элементы» на земле, что горела под ногами захватчиков. Уже весной 1942 года один из подчиненных того же Розенберга доносил своему шефу: «Сегодня партизанская война охватывает всю Белоруссию, почти все леса заполнены партизанами, некоторые части районов находятся в их власти. Нападению подвергаются целые города. Нападают на немецкие военные отряды и на гражданские управления, проводят митинги среди гражданского населения. Партизанская война грозит превратиться в тыловой фронт немецкой армии».

Надо отдать ему должное, немецкий прислужник трезво смотрел на вещи и видел далеко. В глубоком немецком тылу действительно бушевал второй фронт партизанской войны, которая неотвратимо перерастала во всенародную войну против фашизма.

Отечественная война для Белоруссии поистине явилась войной всенародной с ее первого дня и до самой победы. Три года белорусский народ провел ее на переднем крае в буквальном смысле этого слова, ни дня

не зная хотя бы относительной безопасности. Фронт борьбы с гитлеровцами проходил по каждой околице, по каждому подворью, по сердцам и душам людей. Всенародная война означала, что каждый был воином со всеми вытекающими из этого слова обязанностями и последствиями. Независимо от возраста, пола, невзирая на то, имел он оружие и стрелял в оккупантов или только сажал картошку и растил детей,— каждый был воином. Потому что и оружие, и картошка, и подросшие дети, да и само существование каждого белоруса в итоге были направлены против оккупантов.

Белорусский народ под руководством партии коммунистов в кратчайшие сроки сформировал почти полумиллионную партизанскую армию, вооружил ее, снабдил продовольствием, одеждой, фуражом и тяглом. На территории целых районов в течение всей войны функционировали органы Советской власти, боевые бригады партизанских зон месяцами противостояли блокирующим немецким войскам, снятым с фронта. Немцы очень скоро поняли, что этот небольшой и миролюбивый народ выселить с его территории не удастся ни при каких обстоятельствах, как не удастся и онемечить, и оккупанты взяли чудовищный курс на его ликвидацию.

Сознавая ежеминутную опасность, грозившую фашистам из лесов и деревень лесной стороны, они в своем страхе дошли до исступления и готовы были убивать каждого. И если они не убили всех, то лишь потому, что не в состоянии были сделать это физически. Ведь чтобы убить всех, прежде всего надо было их победить. А это оказалось сверх возможностей гитлеровцев, и они убивали, мстя за свои неудачи на фронте и в боях с партизанами, убивали тех, кто помогал или только мог помочь партизанам. Три года непрерывно погибали люди, и это была тяжелая плата народа за свою независимость, которая обошлась Белоруссии в два миллиона двести тридцать тысяч человеческих жизней. Погиб каждый четвертый.

Оккупанты не прочь были сжечь каждую белорусскую деревню, превратить в развалины каждое местечко, каждый поселок. Известные «основания» для этого у них имелись, так как не было на белорусской

земле самой малой деревеньки, которая бы не послала в лес хотя бы несколько своих партизан, чтобы затем содержать их, давать им прибежище в холодное время, помогать разведкой. Воевали даже дети (Марат Казей) и глубокие старики (братья Цуба). Вместе с партизанами они разрушали железные дороги, уничтожали телефонную и телеграфную связь, сжигали мосты, устраивали лесные завалы, днем и ночью вели разведку...

Да, гитлеровцы не прочь были уничтожить в Белоруссии всех и все, чтобы на десятилетия ликвидировать всякие условия для существования белорусов, хотя у них и недостало для этого силы и возможностей. И все же за три года войны они сумели стереть с лица белорусской земли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень.

Необычайный разгар всенародной войны против гитлеровцев, разумеется, не является следствием жестокости последних, как иногда считают на Западе. Также неверно было бы связывать массовое уничтожение населения Белоруссии и ее материальных ценностей с развертыванием партизанской борьбы, хотя оба эти фактора довольно тесно переплетаются между собой. Точно так же, как наш народ органически не мог вынести чужестранного господства на своей земле, немецкий фашизм не мог согласиться с малейшим неподчинением оккупированных народов. Итогом была смертельная схватка двух политических и социальных систем, двух идеологий.

Правое дело одержало победу.

При всей колоссальной громадности собственных усилий и понесенных потерь белорусы отдают себе отчет в том, что им одним, без повседневной помощи и поддержки со стороны других народов страны, никогда бы не выстоять в этой жестокой борьбе. Лишь великое братство советских народов обеспечило им необходимую помощь и дало силы выстоять в самый их трудный час. Сотни тонн грузов оружия и боеприпасов доставлялись на партизанские аэродромы с Большой земли, в советский тыл эвакуировались тяжелораненые. Действиями партизанских сил на протяжении всей войны заботливо руководил единый

центр — Штаб партизанского движения в Москве. Все это удесятеряло силы народа в борьбе и укрепляло его волю к победе.

На белорусской земле в огне партизанской войны закалялась великая дружба братских советских народов. В одном партизанском строю плечом к плечу сражались с врагом белорусы и русские, украинцы и евреи, азербайджанцы и грузины, литовцы и таджики. Нередко случалось, что, оказавшись свидетелями невиданной самоотверженности народа, на его сторону переходили люди из стана врага, представители народов Европы, обманом втянутых в войну. Так, именно в Белоруссии приняли свое прекрасное и роковое для себя решение двадцать итальянских солдат, отказавшихся стрелять в мирных жителей и за это расстрелянных фашистами. На нашей земле совершали свои подвиги легендарной храбрости чех Ян Нелепка и немецкий антифашист Фриц Шменкель. Сотни словаков, венгров, румын, пригнанных фашистами на нашу землю с оружием в руках, обратили это оружие против своих угнетателей.

Белорусы будут вечно признательны героической Советской Армии, сотни тысяч солдат которой отдали свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. У подножий многочисленных обелисков над их могилами никогда не увядают живые цветы — знак вечной памяти благодарного им народа.

...Печально и вместе с тем величественно днем и ночью, в ветер и непогоду разносится над Белой Русью звон колоколов Хатыни. Бесконечен людской поток. Молча стоят люди у венка памяти, положенного на месте захоронения пепла хатынцев, молча читают они обращение мертвых к живым — черные слова на мраморе: «Люди добрые, помните: мы любили и жизнь, и Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть боль и печаль станут силой и мужеством, чтоб смогли вы мир и покой на земле увековечить, чтобы нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала».

И каждый молча подписывается под черными буквами на белом мраморе, под словами клятвы живых:

«Родные наши! В печали великой, склонив низко

головы, стоим мы перед вами. Вы не покорились лютым убийцам в черные дни фашистского нашествия. Вы приняли смерть, но пламя сердец вашей любви к Советской Родине навек неугасимо. Память о вас у нас навсегда, как бессмертна наша земля и как вечно яркое солнце над нею».

Хатынь одна, но смысл этого слова огромен. Прежде всего это светлая память о тех, кто заслужил наибольшее право жить, но кого нет с нами. Хатынь — это миллионы жертв прошлой войны. Это **все** и, что не менее важно, это еще и **каждый.**

Первого сентября в школах Белоруссии на уроках мужества — такие уроки проводятся в каждой школе — учителя рассказывают ребятам об истории Хатыни. Чуткие ребячьи сердца охотно раскрываются навстречу давнему подвигу, который становится для них первым и главным уроком года.

Со дня открытия мемориала тысячи людей побывали в Хатыни, но людской поток к этому священному месту не прекращается никогда. Сюда идут те, кто был осужден немецким фашизмом на смерть, но с оружием в руках отстоял свое право жить, кто был обречен не родиться, но вопреки всему родился и живет свободным. Сюда приезжают многие люди с Запада и Востока, желающие честно понять, почему мы не только устояли, но и победили в прошлой войне.

Хатынь живет не только в народной памяти, но и в повседневных делах народа. О ней пишут в газетах, снимаются фильмы, слагаются стихи и поэмы. Хатынь преподает человечеству простой, как истина, и вечно мудрый урок бдительности. Человечество должно помнить о смертельной угрозе, которой оно избежало в недалеком прошлом, и ежедневно заботиться о будущем. На земле, увы, никогда не было недостатка во властолюбивых авантюристах, всегда зрели на ней темные силы агрессии, охочие поживиться за счет миролюбия других. В наше жестокое время недостаточно любить мир — надо уметь его защищать.

Гитлеровский фашизм разгромлен в открытом бою, человечество победило самого заклятого своего врага. Но ядовитые семена реванша еще не уничтожены. Затаившись на Западе, спокойно благоденствуют по-

старевшие палачи Хатыни и сотен других белорусских, русских и украинских сел. В тиши респектабельных кабинетов они осмысливают свои промахи в прошлой войне и планируют новые «блицы» на новой технической основе. В сокрушительном разгроме сорок пятого уцелели и некоторые из немецких пособников, тщащиеся нравственным и правовым камуфляжем прикрыть свои уголовные преступления в годы войны. Но не будет оправдания их злодеяниям, как и не будет прощения. То, что сотворено ими на белорусской земле, невозможно простить.

...Отлично архитектурно исполненный Мемориал Хатыни хранит для человечества название каждой сожженной белорусской деревни, каждый мертвый хатынский двор, каждое имя хатынца. В скорбном бетонном мартирологе проходят имена взрослых, подростков, детей — Яскевич Антон Антонович, Яскевич Елена Сидоровна, Яскевич Виктор, Яскевич Ванда, Яскевич Вера, Яскевич Надя (9 лет), Яскевич Владик (7 лет), Яскевич Толик (7 недель), и так все 149 погибших.

Все, кроме одного — Иосифа Иосифовича Каминского, случайно спасшегося из горящего, набитого людьми сарая и в бронзе вставшего теперь с мертвым сыном на вытянутых руках. В этих его руках все — и скорбь, и трагизм, и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам возможность выстоять и победить...

1972 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ

Не так давно Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно — он прав. Как и всякое живое дело, военная проза в своем развитии не может избежать определенных спадов, особенно после пережитых ее блистатель-

ных лет расцвета в конце 50-х — начале 60-х годов, когда появились произведения, на многие годы определившие пути ее развития. И хотя в последующие годы литература о войне несколько потеснилась в сознании читающего народа, уступив место, может быть, не менее блистательным произведениям «деревенской» прозы, вряд ли когда-либо померкнут в ее сокровищнице замечательные по мастерству и правдивости произведения того времени, принадлежащие перу Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Симонова, Владимира Богомолова, Константина Воробьева, Юрия Гончарова, Евгения Носова, Сергея Крутилина и других. Написанные, казалось бы, об одном и том же, о человеке на войне, эти произведения несут в себе неиссякаемое разнообразие — жанровое, тематическое, стилевое, различие личностно-авторского отношения к войне и ее непростым проблемам. Но, разумеется, самое ценное в них — правда пережитого, достоверность подробностей и психологии, неизменность гуманистического отношения к человеку самой трудной судьбы — солдату на самой большой и самой кровавой войне.

О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны, разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости. Что до меня как читателя (да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и невоевавших), то, может быть, для нас дороже всего в этих книгах не так мастерство изложения, не красочность слога, но — правда. За тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых сказок и прямой лжи. Это и понятно, потому что война, как известно, всегда была продолжением политики военными средствами и служила интересам власть предержащих. Наша же большая война, на полях которой решались судьбы планеты, имела другой характер и другие, отличные от предыдущих, цели. Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам ее жертв, так и по отношению к будущему. Люди земли должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой досталось им это избавление. Что каса-

ется читателя, то ему интересно знать все: от переживаний солдата в передовом окопе до работы крупных штабов и ставки по руководству войсками. Литература многое сделала для раскрытия психологии рядового бойца и младшего офицера переднего края, но по причине отсутствия прежде всего личного опыта у ее авторов она оказалась некомпетентной до всего, что касается крупных штабов, объединений, ставки. Этот пробел в значительной мере восполняют военные мемуары, принадлежащие перу генералов, крупных военачальников, среди которых немало честных и хороших книг. Но немало также и таких, где фактическая сторона изложения воспринимается с большим сомнением, где, как писал недавно Виктор Астафьев, «проступает явное вранье». В самом деле, часто трудно добраться до сути через аккуратный штакетник округлых стереотипных фраз или задним числом сочиненных подробностей, заимствованных из фронтовой печати тривиальных примеров и бесконечных страниц разговоров. Иные мемуары по своей форме смахивают на пьесы, так много и подробно (вплоть до междометий) переданы в них разговоры, речи, выступления, беседы. Беллетризация воспоминаний, стремление написать художественно, непременно как у настоящих писателей, обычно выдает чужую, не авторскую руку и значительно снижает достоинство такого рода литературы. Ибо как можно поверить в достоверность происходившего спустя 20, 30 и 40 лет, переданного через разговоры в лицах, пусть даже и достопамятных и поразивших воображение. Ведь на войне было нечто поважнее пусть даже самых содержательных разговоров — было дело.

Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что лежит за пределами их жизненного или военного опыта. Но когда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, все те же разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчетах бывшего наркома обороны или ставшие столь популярными в литературе сцены в кабинете Сталина, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке и спрашиваю себя: откуда

все это? Из каких документов, по чьим свидетельствам? Ах, это авторский домысел, стало быть, сочиненность, выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно. И мне становится жаль многих тысяч читателей, питающих понятный, почти трепетный интерес маленьких людей к жизни великих и воспринимающих все это за подлинность, за правду. Можно, разумеется, возразить мне, сославшись на творческую практику Толстого, Маннов, Фейхтвагнера, но тут несопоставимо разные вещи. Даже ошибочный опыт великих остается великим в истории и литературе, а их ошибки для нас не менее важны, чем их несомненные удачи. Но нам-то, наверное, еще далековато и до Толстого и до Маннов, чтобы позволить себе необузданный полет фантазии по отношению к тому, что до сих пор остается сокрытым от человечества бетонной стеной молчания. Кровь, муки и пот народа в минувшей войне накладывают на нас первейшее из обязательств — безусловную верность правде.

Последнее условие императивно также по отношению к документальной литературе, которая в некоторой — я бы сказал, значительной — своей части обрела ныне чересчур поэтическую раскованность, чтобы с должным основанием считаться документальной. В некоторых произведениях этого жанра при всем старании невозможно обнаружить и следа документа, разве что имя героя реально, все же остальное состоит из домыслов, описаний, все тех же диалогов и внутренних монологов, заполняющих страницы и главы. Опять как в романах, как в художественной литературе. Но кому нужна эта художественность, ради которой попирается главное и, может, единственное достоинство этого рода литературы — правда.

Впрочем, это элементарно и давно известно. Тем более что у нас есть и примеры другого рода, замечательные примеры высокого документализма и самой высокой гражданственности; здесь уместно вспомнить творчество, да и всю жизнь незабвенного Сергея Сергеевича Смирнова. Его книги способны стать образцом, примером для подражания последующих поколений писателей-документалистов. Или же «Блокадная книга» Адамовича и Гранина, где всё — факт, жизнь,

судьба, уже принадлежащие истории. Трагической странице нашей с вами истории.

Тот же Виктор Астафьев писал недавно: «Думаю, все лучшее в литературе о войне создано теми, кто воевал на передовой». В общем, это справедливо, хотя я бы не стал утверждать столь категорично, соглашаясь, однако, с той частью его утверждения, что личный опыт войны здесь незаменим. Вся беда литературы второго сорта как раз и заключается в отсутствии определенного личного опыта у одних авторов и в попрании этого опыта теми, у кого он есть, в уходе за его пределы, я бы сказал, за пределы какого бы то ни было опыта в область сочинительства, приблизительности и — неправды. И потому такая литература, с каким бы изяществом она ни была создана, неприемлема по своей сути: она не прибавляет ничего к познанию и осмыслению духа войны, а уводит читателя в область мифов, ортодоксий и домыслов. Во всяком другом случае, может быть, об этом и не следовало бы говорить, но прошлая война для нас, как недавно писал Евтушенко, слишком сокровенная тема, прикасаться к которой надобно с ясным сознанием огромной ответственности: под ней море народной крови. И приходится только сожалеть, что те, кто имеет недюжинный опыт и мог бы сказать о ней сокровенное слово, предпочитают молчать. Мы знаем мемуары, где умолчено о действительно важном, опущено все существенное, взамен чего книжные страницы заняты малозначащими подробностями вроде забытой по рассеянности карты, едва не ставшей причиной самого драматического переживания за всю войну. А старый маршал по дороге на фронт, куда он едет координировать действия войск, думаете, о чем ведет разговор с подчиненными? О русском балете, знатоком и любителем которого он является. Впрочем, возможно, я ошибаюсь: возможно, это о многом говорящие подробности.

Виктор Астафьев прав: память человеческая избирательна и любит приятное. К старости все трудное видится в ином свете, нежели тот, кто освещал муки, кровь и страдания в годы военной молодости. Задним числом кому не хочется видеть себя героем? Это понятно и извинительно для всякого стареющего чело-

века, но не для литературы. Литература не имеет права на старость и должна все помнить в подробностях, в первозданности, не упускать ничего.

Не знаю, устала ли военная проза или просто у нее небольшой, десятиминутный привал на ее долгом пути. Как знать? Кто на войне спрашивал солдата об его усталости: солдат всегда готов был к подвигу и к смерти. Так же и военная проза. Пути и возможности ее неисповедимы. Когда, казалось бы, тема партизанской борьбы с фашизмом была до основания отработана искусством, создана огромная галерея самоотверженных парней, дедов, теток, бравых партизанских комбригов, а также всех разновидностей фашистов и их прислужников, Дмитрий Гусаров создает свой роман «За чертой милосердия», заставивший наконец понять, что такое борьба в тылу у врага. Чье сердце не содрогнулось при чтении этой действительно немилосердной правдивости книги. Когда о пехоте и ее нечеловеческих муках и крови было написано столько, что, думалось, у читателя вот-вот пропадет интерес к атакам и контратакам, окопному и госпитальному быту, Вячеслав Кондратьев печатает «Сашку», и мы увидели, сколько еще там, в пехотной цепи, человеческих драм и литературных возможностей. После книги Гусарова трудно было что-либо добавить к теме оккупированных территорий и немецкого тыла, но вот появились «Каратели» Алеся Адамовича, это философско-психологическое исследование предательства и природы немецкого фашизма, глубинное проникновение в человеческую патологию, равное которому вряд ли сыщется в мировой антифашистской литературе. Григорий Бакланов напечатал отличную, в ключе своих прежних вещей повесть «Навеки — девятнадцатилетние», а Юрий Бондарев в новом романе «Выбор» дал пронзительной силы страницу войны с далеко проросшими корнями причинности и трагическим плодом, созревшим спустя три десятилетия после победы. Новые вещи о войне на подходе у Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, и мы не сомневаемся в их успехе, обеспеченном силой их замечательного таланта и кровью освященного опыта.

А усталость? Не знаю, из будущего будет виднее. Действительно, может оказаться, что все это пишется

не со свежими силами, во время привала на большой дороге. Но если даже в таком состоянии, в период, скажем так, «нерасцвета» наша литература способна создавать такие произведения, то Честь ей, Хвала и Слава.

Дорогие товарищи! Усилиями лучших талантов нашего многонационального советского народа создана огромная литература о войне, целый литературный континент. Книги о войне издает множество издательств на протяжении многих десятилетий. Кажется, однако, еще не было сколько-нибудь серьезной попытки их издательской систематизации. Ввиду этого я предлагаю с этой трибуны в течение ближайших лет приступить к выпуску межиздательской библиотеки, серии из сотни книг под общим наименованием «Великая Отечественная». Эта серия еще больше закрепит в народном сознании беспримерный подвиг народа в годы Великой войны, явится нашим художественным свидетельством о ней и нашим завещанием грядущему.

1981 г.

НЕИССЯКАЕМАЯ ЩЕДРОСТЬ УМА

Лев Николаевич Толстой впервые вошел в мою жизнь много лет назад, когда, заболев однажды, я был на месяц оторван от школы и прочитал четыре тома его «Войны и мира». Не скажу, что детское чтение великой эпопеи оказалось для меня весьма плодотворным, но неповторимые образы ее героев, широкая панорама русской жизни, военные картины далекого прошлого не могли не пленить воображение. Это было добротворное чтение, хотя, разумеется, читать и перечитывать Толстого нелишне в любом возрасте. Как никто другой из великих художников, он обладает неиссякаемой щедростью ума, живостью наблюдений, способностью постоянно влиять на формирование и совершенствование человеческих душ.

И это прекрасно, когда общение с его духовной сокровищницей не заканчивается однажды, а продолжа-

ется в течение всей жизни. Предельная искренность, глубинное проникновение в тайну человеческой сущности, социальная значительность и непрекращающееся искательство нравственного идеала продолжают привлекать к нему многие поколения читателей. Созданные более века назад, «Севастопольские рассказы» наглядно свидетельствуют о том, как следует понимать сражающийся русский народ, как его изображать в литературе. Огромный талант и художническое мужество великого Толстого дали ему право написать бессмертные строки, являющиеся непреходящим императивом всякой реалистической литературы: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».

Казалось бы, все очень просто, иначе и не может быть: правда была и остается великим содержанием литературы. На деле же нет бо́льших забот у пишущего, чем его отношение с такой постоянно ускользающей, столь изменчивой и текучей категорией, какой является правда. Толстой же обладал удивительной, по-видимому врожденной, способностью различать в запутанных и многосложных проявлениях жизни глубинную сущность правды, а его грандиозный талант превращал ее в непременного героя его художественной прозы. Наверно, однако, и для Толстого это было непросто, иначе он не написал бы однажды, что, «как ни странно это сказать, а художество требует еще гораздо больше точности... чем наука». Несколько парадоксально звучат в наш век НТР и покорения космоса эти его слова, но вещий их смысл не может не разделить каждый сколько-нибудь серьезный писатель или думающий читатель.

Мы привыкли к непререкаемой справедливости известного ленинского высказывания о графе Толстом, до которого не было настоящего мужика в литературе, но из этого следует, что мы должны задуматься и о том, откуда у этого барина, в течение почти всей жизни ведшего замкнутый, «усадебный» образ жизни, откуда у него такое глубокое понимание народа, знание потаенной человеческой сущности? Дело, наверно,

все-таки не в образе жизни, а во врожденном свойстве души — степени человеческой сопричастности к другим, себе подобным, способности к сопереживанию, к осознанию чужой боли как своей собственной, чем в огромнейшей мере был наделен Лев Толстой. Это нам теперь видна ограниченность некоторых его духовных исканий, и мы с уверенностью можем судить о его ошибках. Но большое видится на расстоянии, а для него был важен главнейший из исповедуемых им жизненных принципов: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Вся его жизнь — непрестанные поиски: сначала самого себя в этом мире, затем смысла и цели всей жизни. Несмотря на ряд поражений и утрат, он до конца своих дней оставался врагом душевной самоуспокоенности. Не в этом ли, помимо многих других, его великий урок для всех — его современников и живущих в другую эпоху, но все на той же прекрасной и грешной земле?

1978 г.

ЗОРКОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, СТРАСТЬ ХУДОЖНИКА

Прежде чем стать писателем, Сергей Залыгин долгое время занимался наукой, работал в Сибири, имел дело с хозяйственными и научными проблемами, наложившими определенный отпечаток на его литературное творчество. Написанная им книга о литературе — «Литературные заботы» — плод серьезных раздумий о ней человека, не только искушенного жизнью, но и разносторонне образованного, настойчивая и довольно успешная попытка осмыслить громадные знания искусства с точки зрения художника, вооруженного эстетическими и техническими знаниями нашего века.

Литературоведческие размышления писателя сильнее всего впечатляют углубленной способностью автора проникать в область сугубо интеллектуальную,

в область собственно искусства, человеко- и литературоведения. Сергей Залыгин показал себя здесь не только ученым-исследователем с ярко выраженным даром аналитика, но также и поэтом. Его взволнованное эссе о любимом им Чехове не меньше волнует также и читателя. Оно и понятно. Как уже не однажды встречалось в литературе, пересечение в одной точке взглядов настоящих художников, принадлежащих к различным эпохам, дает интересный сплав отношений, мыслей и чувств. Сколько бы мы ни знали о художнике прошлого, мы неизменно очаровываемся тем, что́ в нем с новой силой открывается через живущий в иную эпоху талант, особенно если этот талант — наш современник.

Исследовательские способности Сергея Залыгина в области литературы, эстетики теснейшим образом связаны с его не менее глубокой способностью художнического проникновения в жизнь. Как и в литературоведческих работах, в его прозе мы находим углубленное исследование человеческих характеров. Для нас остается неизменно захватывающим и интересным авторское отношение ко всему, им изображаемому, тем более что излюбленные темы для изображения Залыгин ищет, как правило, в самых кардинальных и переломных моментах нашей истории. Так, лучший из его романов — «Соленая Падь» — произведение о народе, совершающем революцию, и в то же время о человеке, поднятом революцией до уровня исторической личности, каким является главный персонаж романа, партизанский главком Ефрем Мещеряков. Обладающий многими, подчас противоречивыми качествами, он больше всего поражает несокрушимой своей человечностью, которая нередко проявляется в обстоятельствах, казалось, менее всего для того подходящих. «Задохнулся Ефрем. Заплакал Ефрем. Дико взвыл и бросил свою мерлушковую папаху оземь, на ледовые искры инея, покрывшего рыжеватую стерню, а Гришка Лыткин поднял папаху и подал ее обратно, а он опять бросил, а Гришка опять поднял, и глядели на эту бессмысленность партизаны из окопов... И что бы там ни было, на какой бы позор ни толкали белые Ефрема — ему надо было идти, принимать на себя бес-

славие и любой мучительный суд хотя бы от самого себя, даже от своей собственной, а не чужой совести и чести... Надо было воевать против баб и ребятишек опять же бабами и ребятишками, то есть проклятой арарой».

Сделавшись распорядителем судеб тысяч людей, сибирский крестьянин Мещеряков, сам каждодневно рискуя жизнью, не утратил и малой толики своего простодушия, терпимости к чужим слабостям, способности к сопереживанию чужого горя. Может, еще и более того — в противоположность его земляку, начальнику главного штаба Брусенкову, чувство человечности у Мещерякова в новом для него положении обострилось еще и оттого, что нередко именно интересы высокой человечности вынуждали партизанского главкома на довольно рискованные в нравственном отношении, а то и заведомо предосудительные поступки. А ведь в трудной крестьянской и фронтовой жизни никто его особенно не учил нравственности, скорее наоборот. Науку повелевать полками на поле боя он познал сам, на собственном опыте, ценой риска и пролитой крови. Коварство белых, в решающий момент применивших «слезную стенку», вынудило Мещерякова на крайнее средство, против которого он в простодушном протесте и бросил оземь свою мерлушковую папаху...

Если Мещеряков, несущий на своих плечах главную тяжесть защиты Соленой Пади, даже в самые трудные моменты не теряет выдержки и присущей ему человечности, всегда оставаясь справедливым и великодушным, то Брусенков — убежденный сторонник самых решительных мер по отношению к любому — от священника, которого он расстреливает, до комфронта Крекотеня, также не избежавшего подобной участи.

В то время как для Мещерякова революционная борьба определяется главным образом формулой **за** (за власть Советов), то для Брусенкова она гораздо привлекательнее своей второй частью — **против** (против контрреволюции), тут он чувствует себя увереннее и проявляется полнее.

Да, Мещеряков прекрасен в своей отваге и в своей нерешительности, в атаке против арары и в ночной горнице возле спящих детишек — во всей невымыш-

ленной правде своего естества. Весь он как бы круто замешан на этой его глубинно народной правде, которая уже сама по себе, кроме того, что истина, есть еще и высокая поэзия. Мещеряков — то лучшее, что подняла из народных глубин революция, без которой он просто не мог бы состояться как личность, и он, несомненно, лучший образ романа.

Галерея революционных вожаков из народа, представленных в советской литературе прежде всего образами Кожуха, Чапаева, Левинсона, в лице Мещерякова пополнилась еще одним замечательным характером, талантливо созданным нашим современником Сергеем Залыгиным.

Литературный талант Залыгина неизменно подкупает своей емкостью и многогранностью, нередко поражая широтой писательского познания, глубиной его чувствования. Залыгин умеет услышать и передать на своих страницах и гневный гул революционной толпы, и тихий, исстрадавшийся голос женщины, обреченной изнывать в страхе за жизни малолетних детей...

Величайшая ломка в сельском хозяйстве, когда вековая крестьянская страна Россия обобщила свои измельченные малоземельные хозяйства и приступала к устройству неведомой, загадочной и пугающей своей неизвестностью коллективной жизни,— это стало темой повести «На Иртыше». Когда ликвидировалось кулачество, обновлялась деревня, где-то в далекой Сибири, «за болотом», затерялась судьба работящего, смышленого, смелого и умелого крестьянина Степана Чаузова. Стоило ли тридцать лет спустя воскрешать эту судьбу, разбираться в ее полузабытой драме, когда такими разительными и бесспорными для всех стали успехи некогда загадочной колхозной жизни?

В самом деле, что́ судьба одного семейства, одной отлетевшей на лесосеке щепки, когда рубился вековой лес и вершилось небывалое в жизни народа! Но дело в том, что все-таки это не щепка, а человек, и даже двое, кроме нескольких малых, которым, как бы там ни было, предстояло жить в будущем, ином и более справедливом обществе. К тому же Степан Чаузов и не кулак вовсе, а середняк, который одним из первых в селе поверил в бесспорные преимущества колхоза

и сам, по своей воле вступил в него, чтобы строить новую жизнь.

Но — не получилось.

Кто в этом виноват? Виноват, безусловно, и Степан, его упрямый мужицкий нрав, его самочинные действия по отношению к поджигателю колхозного зерна Ударцеву. Но более его виноваты другие, в общем сами по себе, может, и неплохие люди: молодой Митя — уполномоченный, городской житель Ю-рист, не сумевшие или не захотевшие защитить невиновного. Но более других виноват Корякин, возглавлявший тройку по «довыявлению» кулачества. Этот последний — родной брат Брусенкова, над которым в решающий момент не оказалось Мещерякова, некогда при первом своем появлении в Соленой Пади освободившего из-под расстрела Власихина... Коллективное дело в селе восторжествовало окончательно и бесповоротно, но в этой победе осталась одна маленькая занозинка, одна незадача — судьба Степана Чаузова. Именно она много лет спустя и заставила писателя-гуманиста поведать нам об этой позабытой драме, какой бы прискорбной или исключительной она ни была.

После опубликования «Троп Алтая», «На Иртыше» и особенно «Соленой Пади» за Сергеем Залыгиным прочно установилась репутация писателя остросоциальной тематики, чье внимание неизменно привлечено к злободневным и кардинальным вопросам дня сегодняшнего и не столь отдаленного прошлого, уроки которого небесполезны для настоящего. Стало привычным видеть на его страницах прекрасно изображаемую им крестьянскую массу, слышать много и умно говорящих на своих сельских сходках деревенских философов. Автор так овладел их языком, что язык персонажей его произведений стал почти неотличим от авторского — настолько органически он слился в одну добротную русскую речь.

Очевидно, в значительной степени по этой причине для иных залыгинских читателей оказалось неожиданностью появление его нового романа «Южноамериканский вариант» с совершенно иной проблематикой, иной средой изображения, отличным от предыдущего привычного, «залыгинского», «городским»

языком и современным «техническим» и во многих отношениях изысканным стилем. Многие удивились: почему вдруг писатель, прекрасно владеющий мужской психологией, глубоко понимающий мужика-хлебопашца, вдруг главным персонажем романа избрал женщину, нашу современницу, научного работника?

Следует признать такое удивление небеспричинным. Действительно, в предыдущих произведениях С. Залыгина женские образы не пользовались особенным его вниманием, и мы можем вспомнить из них разве что симпатичную Клавдию Чаузову, Дору Мещерякову да Тасю Черненко. Не так и много. Но, видно, в том-то и дело, что тема женщины у Залыгина до поры до времени оставалась как бы «в запасе»: неизрасходованные жизненные наблюдения, размышления, выводы требовали их литературного воплощения. И вот писатель реализует их в новой, романной емкости, почти целиком заполнив ее образом Ирины Викторовны Мансуровой.

Если хотя бы в общих чертах проследить за эволюцией первых героинь Залыгина к его Ирине Мансуровой, то удастся понять ее важность и неизбежность в этом немногочисленном ряду залыгинских женских образов. Спору нет, со времен Таси Черненко, Доры Мещеряковой и Клавдии Чаузовой в женской судьбе изменилось многое — другой, непохожей на все предыдущие жизнью живут теперь их землячки — сибирские колхозницы. Но значит ли это, что проблема женской судьбы решена и ничто больше не стоит на пути к счастью?

Несмотря на многочисленные перемены к лучшему в социальной жизни народа, одно неизменно: современная женщина по-прежнему остается в своей, уготованной ей природой роли продолжательницы человеческого рода, воспитательницы его будущих поколений, что уже само по себе невозможно без атмосферы любви и человечности. Современная женщина ничуть не меньше, чем в свое время Анна Аркадьевна Каренина или Анна Сергеевна фон Дидериц, занята все тем же, огромным для нее вопросом любви, без которой счастье ее не может быть полным даже в самом гармоническом обществе. Более того, оказывается, что

там, где ее нет, этой злосчастной любви, надобно ее выдумать и обратить к объекту реальному или вымышленному, ибо даже любовь не всамделишная, воображаемая придает миру женщины новое содержание, наполняет ее духовностью, без чего не очень уютно было бы на этой земле и той половине человечества, которая по возможности целиком посвящает себя борьбе за научно-технический прогресс,— мужчинам.

Но, очевидно, со временем любовь будет «стоить» все более дорого. Как уже замечено в жизни, вековой объект женской любви — мужчина заметно утрачивает свойственный ему примат сильнейшего по сравнению с женщиной, а значит, и «лучшего», каким он являлся в прошлом, будучи воином-защитником (Мещеряков) или рачительным землепашцем-хозяином (Чаузов), и нередко становится таким же, как и она (Ирина Викторовна), служащим, «технарем», заведующим отделом, стоящим на служебной лестнице иногда чуть повыше ее, а иногда и пониже. Но каково-то женщине любить того, кто «пониже», и не только в служебном отношении, а в других тоже, каким является, например, Мансуров-Курильский?

Можно эту проблему рассматривать как угодно и объяснять то ли историческим ростом социально-общественной роли женщины, то ли снижением роли мужчины, можно ее понимать как благо или наоборот, но суть проблемы от этого не изменится. Для реализации естественного человеческого дара любви нужен достойный этой любви объект, иначе любовь угрожает превратиться в нечто сугубо рациональное, лишенное и страсти и поэзии.

Мне думается, что последний роман С. Залыгина именно об этом.

Во всяком случае, очевидно, что проблематика его уже сама по себе способна возбудить споры. И такие споры, как известно, возникли. Я допускаю, что к роману можно отнестись по-другому, «прочитать» его иначе. Но ведь произведение новаторское всегда спорно. И даже оспаривая социально-нравственную проблематику романа, подобает ли проходить мимо многих его прочих достоинств — мастерски выверенной формы, его изящного, даже виртуозного стиля, где почти

каждая фраза — законченная художественная фигура, а весь роман — сплошная, почти не прерывающаяся психологическая цепь, составляющая внутренний мир героини, подробно исследованный и точно изложенный отличным языком автора.

Вряд ли кто решится оспаривать сейчас тот факт, что наша литература заметно обогатилась суровыми и прекрасными страницами, вышедшими из-под пера этого даровитого мастера — Сергея Залыгина. Талант потому и талант, что, приглядываясь к жизни, видит в ней дальше и слышит больше, нежели многие другие, и потому поучительны даже его явные, а тем более кажущиеся недостатки.

Для Сергея Залыгина нынешний год — юбилейный. Ему исполняется шестьдесят, что можно считать возрастом творческой зрелости. Писатель постоянно в работе. Большая общественная и литературно-преподавательская деятельность не является помехой для его главного дела — литературы, которой он отдается без устали и самозабвенно. Он знает, что за него никто не сможет написать то, что дано написать только ему одному. Вслед за писателем мы можем повторить его же слова, сказанные им по другому поводу, но в равной степени относящиеся и к сказавшему их,— о том, что литература для него отнюдь не цель, а лишь средство выражения истины, гораздо более высокой и значительной, чем его искусство и он сам.

* * *

Около тридцати лет назад Сергей Павлович Залыгин вошел в большую литературу со страниц «Нового мира», который тогда редактировал незабвенный Александр Твардовский, любивший и умевший открывать таланты в самых отдаленных уголках России.

Это его появление в столь серьезном журнале было естественным и правомерным: располагая недюжинным жизненным опытом, Сергей Залыгин принес в литературу ряд важных жизненных проблем, отразив их с глубиной и блеском истинного таланта. Последующие публикации С. Залыгина сделали его имя широко

известным в стране, некоторые из них вызвали серьезные споры в литературных кругах, но ни одно из произведений Сергея Залыгина не оставляло читателя равнодушным, так или иначе затрагивая самые болевые точки в сознании современного человека.

Обладая разносторонним литературным дарованием, которому по плечу художественное воплощение самых различных сторон человеческого бытия, Сергей Залыгин тем не менее снискал всеобщее признание, как знаток деревни, психологии широких крестьянских масс Сибири в годы революционного перелома и последующих социальных преобразований в России. Теперь, по прошествии ряда лет, особенно видно непреходящее значение для литературы самобытных залыгинских образов — Чаузова, Мещерякова, Брусенкова, целой плеяды крестьянских характеров из его «Комиссии», колоритных и обаятельных женских образов, густо рассыпанных по страницам залыгинских произведений. Литературный талант Залыгина неизменно подкупает своей жизненной емкостью и многогранностью, нередко поражая широтой писательского познания, глубиной постижения характеров и эпохи. Залыгин умеет услышать и передать на своих страницах и гневный гул революционной толпы, и тихий, исстрадавшийся голос женщины, задавленной жизнью, обстоятельствами, страхом за ее малолетних детей. Не чужды ему и дела наших современников, людей эпохи НТР, их далеко не традиционные заботы, характеры научных работников с их специфическими проблемами, в чем, естественно, проявляется давнишний авторский интерес к науке — предмету увлечения его молодости.

Натура активно и честно мыслящая, Сергей Залыгин сочетает чисто писательскую работу с важным и естественным в таких случаях осмысливанием опыта современников, равно как и наших великих предшественников. Его «Литературные раздумья», а также очерк о творчестве А. Чехова явились плодом именно такого вдумчиво-аналитического подхода к литературным урокам прошлого, осознанию их значения в современном отечественном и мировом литературном процессе.

Наблюдая за общественной стороной жизни С. Залыгина последних лет, нельзя не подивиться его творческой и чисто гражданской активности, широте его интересов, живости и «подъемности», с которыми он отзывается на различные общественно-литературные мероприятия, будь то поездка в далекое Заполярье, осмысление насущных проблем братской латышской литературы или обсуждение состояния венгерской прозы. Он же на удивление по-молодому читающий писатель, отлично осведомленный о последних достижениях молодой прозы, опекающий многих из начинающих авторов. И к нему идут, потому что его знают и любят, на него по праву надеются.

Семь десятков лет — срок, пожалуй, немалый, в иных случаях целиком вбирающий жизнь и судьбу человека. Но, как это засвидетельствовано многими примерами, истинному таланту возраст не помеха для его выражения: обогащенный жизненной и художнической мудростью, он плодоносит с новой, не менее замечательной, чем прежде, энергией. Что касается Сергея Залыгина, то все последние годы писатель занят напряженной работой над, может быть, главной книгой своей творческой жизни — романом «После бури», первая часть которого вышла в прошлом году. Есть все основания полагать, что это будет поистине значительное явление в нашей литературе, плод зрелого ума и пытливой мысли художника, которому подвластны все стороны человеческого существования.

Новых свершений Вам, дорогой Сергей Павлович!

1973, 1983 гг.

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

Непреложен и значителен тот несомненный факт, что духовная культура народа на путях своего исторического развития обогащается в значительной степени усилиями лучших его сыновей, его бескорыстных подвижников. Сам процесс этого обогащения никогда не прост и всегда чрезвычайно труден. Прошлое каждой культуры изобилует примерами драматических столкновений талантов с силами реакции, косности,

консерватизма. В этом отношении дореволюционная судьба Коласа, равно как и судьба его друга и сподвижника Янки Купалы, не была исключением и потребовала от обоих еще большего, чем их так пронзительно и рано заявившие о себе поэтические таланты. Все было на их тернистом пути: и горячая поддержка одних, и упорное сопротивление других, признание обоих в качестве национальной надежды и гнуснейшее полицейское преследование, публичные овации и печатное глумление над их исторгнутыми из сердец строками. Многое пришлось пережить обоим, и прошли годы, прежде чем их имена стали тем, чем они являются ныне.

Купала и Колас встали в начале века у истоков новой белорусской литературы, возрожденной поэзии; Коласу, кроме того, уготовано было далеко подвинуть в своем развитии национальную прозу, вдохнуть в нее живую народную жизнь — нелегкую жизнь белорусского крестьянина, каким он был сам по рождению и, по существу, оставался на протяжении всей своей жизни. Но, помимо всего, судьбе было угодно, чтобы этот крестьянин стал еще и одним из первых белорусских интеллигентов, и вот в этом двуединстве исконной крестьянской сущности и нелегко обретенной духовности секрет непреходящего обаяния коласовского таланта, таланта необычайной земной силы, позволившей создать произведения, уверенно завладевшие умами рабочих, крестьян, интеллигенции.

Да, Колас наш национальный гений, классик советской литературы, понимавший много и видевший далеко — с высоты своего человеческого опыта и своего замечательного таланта. И в то же время он оставался человеком простым, до невероятного скромным. Так, занимаясь большими проблемами века, много сил отдавал работе в Академии наук Белоруссии в качестве ее вице-президента, он отводил душу на скромной делянке ржи, которую выращивал на своем городском участке, писал мудрые книги и являлся инициатором такой сугубо земледельческой кампании, как борьба с засоренностью почвы камнями на полях республики.

Он ушел от нас, оставив обширное наследие своего беспокойного духа, многообразные художественные

страницы народной жизни первой половины XX века. В них и он сам. Но и не только в них. Все-таки как бы там ни было, а творец выше своего творения, и самое гениальное произведение не может превзойти его автора. Человек есть бог над творением рук его, но не его раб. Мне думается, что по прошествии лет потомкам еще предстоит осознать всю непростую цельность многогранной коласовской личности, в полной мере постичь феномен его души. Его художественное творчество несет в себе огромный заряд добра и человечности, важность которых в наш термоядерный век переоценить невозможно. Вместе со столь ярко и полно выраженной партийностью и народностью они составляют глубинную сущность коласовского гения.

1982 г.

КАК БЫЛА НАПИСАНА ПОВЕСТЬ «СОТНИКОВ»

На читательских конференциях, в письмах и личных разговорах нередко приходится слышать, казалось бы, обескураживающий в моем положении вопрос: «Как вы, не обладая личным опытом партизанской войны, решились написать эту повесть?» Признаться, всякий раз, отвечая на него, хочется начать издалека, сослаться на природу творческого воображения, законы художественной литературы, пример великих. Но, поразмыслив, находишь другой ответ, который лежит значительно ближе и формулируется также в форме вопроса:

— А разве эта повесть о партизанской войне?

— Да не совсем. Но все-таки...

Действительно — все-таки...

Партизанский опыт войны у меня в самом деле отсутствует, и, разумеется, обладай я им в достаточной степени, возможно, повесть получилась бы более богатой деталями, обстоятельствами, с более конкретным и содержательным фоном. Но дело в том, что, принимаясь за нее, я все-таки располагал необходимыми знаниями, которые почерпнул из воспоминаний партизанских руководителей, из многочисленных уст-

ных рассказов рядовых участников борьбы, моих земляков. Вот, скажем, овца, которую герои повести хотят доставить в свой лагерь. Этот эпизод был заимствован мной из рассказа одного из друзей-гродненцев, досконально знающего все, что относится к своеобразию партизанского быта. Такого рода рассказов, воспоминаний в любом из уголков Белоруссии в избытке, и только ленивый или глухой может игнорировать их. В этом смысле главная моя трудность заключалась не в недостатке информации, а скорее в ее изобилии, затруднявшем отбор, в непричесанности огромного многообразия фактов, их нежелании подчиниться привычным сюжетным схемам.

Но, разумеется, взялся я за повесть не потому, что слишком много узнал о партизанской жизни, и не затем, чтобы прибавить к ее изображению нечто мною лично открытое. Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?

Всякий знающий о войне не понаслышке легко поймет всю огромную важность этих вопросов, не один раз встававших перед теми, кто сражался с оружием в руках. Мне думается, как фронтовикам, так и партизанам одинаково памятны случаи из их собственного боевого опыта, когда эти и подобные вопросы приходилось решать не умозрительно, а практически, ценой крови, ставя на карту жизнь. Но ведь никому не хотелось лишаться своей единственной и такой дорогой ему жизни, и только необходимость до конца оставаться человеком заставляла идти на смерть. В то же время находились люди, которые пытались совместить несовместимое — сохранить жизнь и не погрешить против человечности, что в определенных трагических обстоятельствах оказывалось невероятно трудным, если не совсем безнадежным.

Много лет в моей памяти жил один случай, нелепый своей парадоксальностью, настойчиво будораживший мое сознание.

Это произошло в августе 44-го, в самый разгар Ясско-Кишиневской операции, когда наши войска успешно прорвали оборону противника, окружили кишиневскую группировку гитлеровцев, взяли большое количество пленных. Как-то во время наступления за Прутом начальник артиллерии полка, в котором я служил командиром взвода, послал меня за несколько километров в тыл, чтобы встретить и завернуть на другую дорогу заплутавший где-то транспорт с боеприпасами. Вдвоем с разведчиком мы прискакали на лошадях в какое-то румынское село западнее станции Унгены. Здесь в большом, обнесенном изгородью дворе располагался сборный пункт для военнопленных, и в огромном загоне стояли, сидели и лежали на истоптанной траве сотни румын и немцев. Проезжая мимо, я рассеянным взглядом скользил по их постным лицам, на которых уже не было и тени воинственности, а было тупое выражение отвоевавшихся, усталых, разморенных жарой людей. И вдруг загорелое небритое лицо одного из тех, что безучастно сидели в канаве у самой изгороди, показалось мне знакомым. Пленный тоже задержал на мне свой отрешенный взгляд, и в следующее мгновение я узнал в нем когдатошнего моего сослуживца, который с осени 43-го считался погибшим. Более того, за стойкость, проявленную в тяжелом бою на Днепровском плацдарме, за умелое командование окруженным батальоном, в котором он был начальником штаба, этот человек «посмертно» был удостоен высокой награды. О нем рассказывали новому пополнению, о его подвиге проводили беседы, на его опыте учились воевать. А он вот сидел теперь передо мной в пропотевшем немецком кителе с трехцветным шевроном на рукаве, на котором красноречиво поблескивали три знакомые буквы «РОА».

Я придержал лошадь, слез на обочину возле нескольких ржавых нитей колючей проволоки и долго не мог сказать ни слова. Я смотрел на него, а он также молча смотрел на меня, но в отличие от меня не удивлялся. Он уже перестал удивляться, но, видно, поняв, что молчанием не обойтись, сказал после тяжелого вздоха:

— Вот так оно получается!

— Как же это случилось?

В его печальных глазах не было ни злобы, ни отчаяния, была только тихая покорность судьбе, на которую он не замедлил сослаться.

— Что делать! Такова судьба.

Потом мы поговорили немного. Он попросил закурить и кратко поведал печальную и одновременно страшную в своей уничтожающей простоте историю. Оказывается, в том памятном бою на плацдарме он не был убит, а был только ранен и попал в плен. В лагере, где он потом оказался, сотнями умирали от голода, а он хотел жить и, вознамерившись обмануть немцев, записался во власовскую армию с надеждой улучить момент и перебежать к своим. Но, как назло, удобного момента все не было, фронт находился в жесткой обороне, а за власовцами зорко следили гитлеровцы. С начала нашего наступления ему пришлось принять участие в боях против своих, хотя, разумеется, он стрелял вверх: разве он враг своим? — утешал он себя. В конце концов оказался в плену, конечно же, сдался сам, иначе бы тут не сидел...

Я слушал его и верил ему: он говорил правду. Безусловно, он не был из числа тех, которые жаждали служить врагу, его личная храбрость и воинское мастерство были засвидетельствованы высокой наградой. Просто, оказавшись в плену, он превыше всего поставил собственную жизнь и решил обхитрить фашистов. И вот плачевный результат этой хитрости...

Такой не очень сложный, хотя и не прямой путь привел меня к осознанию той нравственной идеи, которая послужила основой повести «Сотников». Для художественного воплощения ее понадобились соответствующие характеры и подходящие для них обстоятельства. Можно было бы остановиться на выше приведенной истории или на схожем материале из фронтовой действительности, но мне более привлекательным показалось партизанское прошлое с его меньшей регламентированностью, значительно большей долей случайного, стихийного, наконец, с известной пестротой, разнохарактерностью его человеческой массы. В качестве основных героев я взял двух партизан, почти товарищей, но не друзей, не хороших и не плохих —

разных. Каждый из них исповедует свои моральные принципы, обусловленные воспитанием, нравственной и духовной сущностью. Сотников по натуре вовсе не герой без страха и упрека, и если он честно умирает, то потому прежде всего, что его нравственная основа в данных обстоятельствах не позволяла ему поступить иначе, искать другой конец. Рыбак тоже не подлец по натуре; сложись обстоятельства иначе, возможно, проявилась бы совершенно другая сторона его характера и он предстал бы перед людьми совсем в ином свете. Но неумолимая сила военных обстоятельств вынудила каждого сделать самый решающий в человеческой жизни выбор — умереть достойно или остаться жить подло. И каждый выбрал свое.

В подавляющем большинстве своих откликов читатели становятся на сторону Сотникова, хотя некоторым и не совсем по душе его человеческая жесткость, аскетический максимализм, которые несколько сушат образ, обедняют его житейски. Но нельзя упускать из виду, как много пришлось пережить этому еще молодому человеку (разгром полка, плен, побег, болезнь, ранение и новый плен), чтобы понять, как ожесточилась его душа. Некоторым больше импонирует прагматическая натура Рыбака, который почти до конца в общем-то сносно относится к Сотникову и в труднейших обстоятельствах плена не теряет надежды на спасение, хотя, может, и не совсем благовидным путем. Со своей стороны, я бы мог заметить только, что прагматизм терпим, когда он не переступает социально-нравственных основ нашего человеческого общежития. Да, разумеется, трудно требовать от человека высокой человечности в обстоятельствах бесчеловечных, но ведь существует же предел, за которым человечность рискует превратиться в свою противоположность!

Об этом повесть.

Фон, как я уже сказал, мог бы получиться более конкретным, хотя во всем, что касается обстоятельств, я старался быть максимально точным. Кажется, в целом это удалось, я избежал приблизительности, тем более неточности в деталях и обстоятельствах. После нескольких публикаций читатели не обнаружили сколь-

ко-нибудь серьезных погрешностей, разве кроме одной. Читатель-астроном из Москвы сообщил, что молодой месяц, который появляется в небе вечером, не может светить и ночью: к полуночи он должен зайти. Это верно, и я это исправил.

Повесть, как это ни странно, если иметь в виду вышесказанное, писалась относительно легко. Вся работа шла строго последовательно. Оттолкнувшись от первого, счастливо найденного, хотя, возможно, и не нового в литературе образа ночной зимней дороги и в общем-то зная своих героев, ощущая их характеры и представляя их прошлое, я легко руководствовался логикой их поведения, их реакцией на события. Как всегда, главную трудность представляло начало. «Откуда начать?» — вот вопрос, который обыкновенно занимает прозаика больше других. Начать следует так, чтобы это было не слишком далеко, но и не слишком близко. В первом случае экспозиция грозит затянуться, появятся не всегда обязательные подробности, во втором — не успеет читатель присмотреться, привыкнуть к героям, как начинаются решающие события. Поскольку действие этой повести развивается непрерывно (или почти непрерывно) и продолжается каких-нибудь двое суток, пришлось концентрировать события, иногда форсировать сюжет, чтобы каждый час литературного бытия героев был максимально насыщен смыслом и действием.

Я не вел записных книжек, предварительно не запасался деталями, но замысел старался обдумать основательно и так разработать сюжет, чтобы к моменту начала работы над повестью мне все о ней было известно. Разумеется, в ходе работы стали неизбежными некоторые отступления от первоначального плана, появились какие-то новые, более выигрышные ходы, от каких-то, даже очень заманчивых, моментов пришлось отказаться. Так, первоначально вся предыстория девочки Баси была подана автором отдельной главой, но потом пришлось этой главой пожертвовать — передать слово самой героине.

Как правило, работе над каждой вещью у меня предшествует, кроме максимально разработанного плана, еще и скрупулезно продуманный финал. Без

ясного представления о том, чем должна закончиться повесть, я не приступаю к ее началу. В тех нескольких случаях, когда пришлось приниматься за работу, отодвинув разработку финала «на потом», вещи решительно не удались именно по причине неудовлетворительного финала. (Разумеется, это только мое личное правило, вполне вероятно, что другие работают иначе и метод их работы более для них успешен, но для меня успешнее мой, в этом я достаточно убедился). Вообще же, поскольку проза, как известно, требует мыслей, каждый сюжетный поворот, каждый образ в ней следует осмысливать максимально, до мельчайших подробностей, не полагаясь на все вывозящую силу пусть и верно угаданных характеров. Наше осмысление логики характеров и обстоятельств и есть наш диктат над литературной моделью, в которой все или почти все определяет автор сообразно со своей целью, идеей, художническим вкусом. Известную пушкинскую фразу о своеволии Татьяны, на мой взгляд, не следует понимать буквально — она не более чем шутка, к которой нередко бывают склонны писатели.

В «Сотникове» я с самого начала знал, чего хочу в конце, и последовательно вел моих героев к сцене казни, где один помогает вешать другого. Не желая того, переживая. Но уж такова логика фашизма, который, ухватив свою жертву за мизинец, не остановится до тех пор, пока не проглотит ее целиком.

Написанная по-белорусски, повесть эта сначала появилась в переводе на русский язык и только спустя полгода была опубликована в белорусском журнале «Полымя». Тому было несколько причин, и одной из них явилась всегда остро стоящая перед нашими братскими литературами проблема художественного перевода. Я навсегда благодарен переводчикам, немало сделавшим для популяризации моих произведений среди многомиллионного всесоюзного читателя, но мой личный опыт достаточно убедил меня в том, что переводить на русский язык должен по возможности сам автор. И дело тут не в степени литературного мастерства автора или переводчика — как правило, последний владеет русским языком совершеннее,— но в не-

достаточно еще исследованных особенностях перевода на русский язык с родственных ему языков. Кажущаяся легкость перевода, значительная тождественность лексики белорусского и русского языков властно держат переводчика в плену приблизительности, порождая в итоге нечто третичное, усредненное и обесцвеченное, что, хотя и написано по-русски, неистребимо несет на себе все признаки сырого подстрочника. Но ведь самый удачный подстрочник еще не перевод, и чтобы превратить его в произведение русской литературы, следует заново переосмыслить образный строй оригинала, дать ему новое выражение — на современном русском литературном языке. Конечно, это трудная и сложная работа, она, я думаю, не под силу никому, кроме самого автора, если он чувствует уверенность в том, что в достаточной мере владеет русским языком.

Обычно при работе над переводом продолжается и работа над языком оригинала. В переводе сразу, порой совершенно неожиданно проявляются различные стилевые несовершенства оригинала, уточняется психология героев, некоторые мотивировки их поступков. В ряде случаев та или иная мысль или образ получают большую выразительность именно на русском языке, в других же, наоборот,— точному белорусскому выражению так и не удается найти исчерпывающий русский эквивалент. Особенно это касается народных речений, диалектизмов, а также некоторых синонимов и метафор, свойственных белорусскому и отсутствующих в русском языке. Оба языка в процессе авторского перевода непрерывно взаимодействуют, попеременно влияя один на другой. Разумеется, язык оригинала остается преимущественным, определяющим, но нередко он теряет свое преимущество и сам изменяется, приспосабливаясь к языку перевода. Это интересная, иногда захватывающая и еще по-настоящему не изученная область литературного творчества, в полную силу проявляющая себя только при авторском переводе...

Разумеется, все сказанное лишь часть личного авторского опыта, некоторые штрихи к истории создания одной небольшой повести. В других случаях, возмож-

но, все будет обстоять иначе. Писатель может только приветствовать это «технологическое» разнообразие, являющееся предпосылкой разнообразия творческого.

1973 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ «АЛЬПИЙСКОЙ БАЛЛАДЕ»

Группа студентов биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова просит меня рассказать в газете о предыстории создания одной из моих повестей...

Это произошло в самом конце войны в Австрийских Альпах, куда уже властно вошла последняя военная весна и с ней мощным потоком хлынули войска двух наших фронтов.

Здесь был глубокий тыл немецкого рейха и, как всюду в его тылу, было много работавших на войну промышленных предприятий и, конечно, всяческих лагерей: концентрационных, военнопленных. рабочих. С приходом Советской Армии все они приходили в движение, охрана разбегалась, дороги и населенные пункты наводнялись многими тысячами людей, согнанных из всех стран Европы.

Однажды мы заняли какой-то городок и ждали новой команды. Длинная колонна артполка, повернув к обочине, замерла на вымощенной брусчаткой окраинной улочке. Кажется, это был Фельдбах или, может быть, Глейсдорф — память сохранила общий вид городка, но совершенно утратила его название. Солдатам не было разрешено отлучаться из машин, мы вот-вот должны были свернуть с прежнего направления, и начальство в командирском «виллисе» что-то решало на карте.

В кабине «студебеккера» сильно пригревало солнце, после бессонной ночи клонило в дрему, и я вылез на улицу. Солдаты в кузовах тоже сидели, разомлевшие от тепла, и дремотно «клевали» носами; по мостовой вдоль машин прошла группа вырвавшихся на свободу исхудавших экспансивных людей в темных бе-

ретах. Они несли национальный французский флаг, распевали «Марсельезу» и что-то прокричали нам, но мы не поняли, и только старшина Лукьянченко добродушно помахал им из кузова — давай, мол, не стоит благодарности. Освободили, так что ж... Это нам семечки.

И тут возле одной из дальних машин на глаза мне попалась девушка — щупленькая, черноволосая, в полосатой куртке и темной юбочке, она перебирала взглядом лица бойцов в машине и отрицательно вертела головой. А в машине уже началось обычное в таком случае оживление: что-то там наперебой выкрикивали бойцы, но она, погасив улыбку, перешла к следующей машине.

— Товарищи, кто есть Иван?

— Иван? — вскочил крайний боец.— Я Иван, вот он Иван, и шофер наш тоже Иван.

Исполненное надеждой лицо девушки постепенно скучнело по мере того, как она переводила взгляд с одного Ивана на другого, и она с тихой печалью молвила:

— Но. То нон Иван.

Что-то заинтересовало меня в этих ее поисках, и я подождал, пока она, повторяя все тот же вопрос, не обошла всю колонну. Разумеется, Иванов у нас было много, но ни один из них не показался ей тем, кого она разыскивала. Тогда мы вместе с командиром третьей батареи капитаном Коханом подошли к девушке и спросили, какого именно Ивана она разыскивает.

Девушка сначала немного всплакнула, но быстро овладела собой, рукавом куртки вытерла темные блестевшие глаза и, окинув нас испытующим взглядом и страшно перевирая русские и немецкие слова, густо пересыпанные итальянскими, рассказала примерно следующее.

Ее зовут Джулия, она итальянка из Неаполя. Год назад, летом сорок четвертого, во время бомбежки союзной авиацией расположенного в Австрии военного завода она бежала в Альпы. После недолгого блуждания по горам встретила русского военнопленного, тоже бежавшего из концлагеря, и они пошли вместе.

Сначала он не хотел брать ее с собой, так как пробирался на восток, ближе к фронту, она же хотела на родину, в Италию, откуда была вывезена после подавления восстания в Неаполе и брошена в немецкий концлагерь. Несколько дней они проблуждали в горах, голодные и раздетые, перешли заснеженный горный хребет и однажды в туманное утро напоролись на полицейскую засаду. Ее схватили и снова бросили в лагерь, а что случилось с Иваном, она не знает. Но она очень надеется, что он избежал ее участи, пробрался на фронт и теперь вместе с Красной Армией снова пришел в Австрию.

Конечно, это было наивно — надеяться встретить в огромнейшем потоке войск знакомого парня; мы, как могли, утешили девушку и поспешили к своим машинам, потому что уже была подана команда к движению.

В тот же день под вечер начался затяжной бой за очередной городок, вскоре погиб капитан Кохан, я почти забыл об этой мимолетной фронтовой встрече и вспомнил о ней лишь спустя восемнадцать лет, когда занялся литературой. И тогда я написал все то, что вы прочитали в «Альпийской балладе».

Вот и вся коротенькая история — пролог к одной из моих повестей, заинтересовавших группу студентов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

1971 г.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Во время его нелегкой продолжительной болезни все, кому дорога литература, не переставая, следили за этим почти двухлетним единоборством большого человека с недугом, в котором, как это ни огорчительно, победила смерть. Да, как и все люди, будучи смертным, он в конце концов ушел в небытие, и как в утешение нам остались его книги, его бессмертные поэмы, которые своим теплом долго еще будут согревать человеческие души.

От самой молодости и почти через всю сложную и нелегкую жизнь ему сопутствовала тем не менее удивительно счастливая литературная судьба. Нечасто так случается в искусстве, чтобы слава, пришедшая к художнику в ранней молодости, с таким неизменным постоянством служила ему всю жизнь. Но тут, пожалуй, дело не столько в достоинствах самой славы, сколько в определенной удачливости ее в общем капризного выбора — этот художник, несомненно, заслуживал и большего.

Он прожил немногим более шестидесяти лет, в течение которых им, быть может, более чем кем-либо другим сделано для расцвета и без того не бедной талантами русской литературы.

Глубоко национальный и в то же время чрезвычайно общечеловеческий его герой встает со страниц его многочисленных книг, посвященных, как правило, самым значительным моментам полувековой советской действительности — от коренного переустройства сельского хозяйства в годы коллективизации, через финскую и Великую Отечественную войны, послевоенный восстановительный период, годы покорения космоса. Его поэмы «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль» давно уже стали классикой советской поэзии. Каждая из этих поэм в свое время становилась явлением, за каждой из них — сложная история ее создания, критические баталии или единодушное признание при их первом же появлении в печати. Завидная судьба!

Как и в прежние годы, так и теперь, после его смерти, будет немало попыток раскрыть его поэтический феномен, разгадать секрет его ошеломляющей популярности, разобраться в сложном разнообразии его творчества, начатого в провинциальной газете с небольшого стихотворения под названием «Новая изба». Как всегда в таких случаях, трудно избежать определенного риска и безусловной относительности в определении художнической природы поэта, основа которой, конечно же, в органичности его таланта. Но, кажется, есть все основания утверждать, что его кристальную по классической чистоте поэтику более всего отличает от множества других несомненных талан-

тов его необычайная и неизменная во времени верность таким многоопределяющим в литературе категориям, как Правда, Простота и Искренность.

Думается, именно эти качества при высокой степени гражданственности и выразительности поэтического таланта обеспечили столь высокий успех его поэмам, его тихой, но такой емкой на чувства лирике. Тут, пожалуй, ему повезло в самом начале, потому что то, к чему обычно приходят в конце пути, после ряда мучительных неудач и длительных поисков и без чего невозможно искусство, если оно не хочет превратиться в пустую забаву для снобов, это необходимо было счастливо постигнуто им в самом начале. В зачине своей «Книги про бойца», перечислив то, без чего невозможно обойтись на войне, автор выражает главнейший свой вывод, что «всего иного пуще не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька».

Этой его пронзительной «прямо в душу бьющей» правдой крепко мечены все его поэмы, статьи, его выступления, вся его военная лирика — от стихов, написанных им в снегах Карельского перешейка, до знаменитого «Я убит подо Ржевом» или недавнего одиннадцатистрочья, совершенно беспощадно-пронзительного в своей смысловой и эмоциональной емкости: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они—кто старше, кто моложе— остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь,— речь не о том, но все же, все же».

Можно пространно рассуждать о многом, что касается его поэм и стихов, давних и написанных в последнее десятилетие его жизни, о его человеческих и гражданских чертах. Писал он вообще немного и в последние годы печатался мало, зато каждая его строчка была откровением для читателя независимо от того, было ли это коротенькое лирическое стихотворение вроде приведенного выше, или «В живых-то меня уже нету...», или основательная литературоведческая статья, как, например, о творчестве И. Бунина, или предисловие к чьим-либо публикациям в журнале, много лет им возглавляемом. Не так давно напеча-

таны его дневники-воспоминания «С Карельского перешейка», которые не могли не взволновать каждого своей неожиданной новизной во взгляде на ту недолгую, почти уже позабытую войну. Интересно заметить, что эта небольшая публикация открывает собой четко обозначенные истоки Твардовского-баталиста, автора бессмертной «Книги про бойца». Именно там зимой 1940 года явилась к нему тема Василия Теркина, которую затем он пронес через всю мучительно долгую Великую Отечественную войну и которая окончательно закрепила за ним славу одного из самых замечательных советских поэтов.

Помимо многих других достоинств, в этих записках обращает на себя внимание необычайная авторская наблюдательность, его на удивление свежая, не замутненная временем память, просто невероятная без чего-то существенно-личностного, чем владеет далеко не каждый даже из одаренных художников. Художественная выразительность каждой самой незначительной на первый взгляд детали, глубинное приникновение мысли, отсутствие даже отдаленного отзвука вторичности, явное наличие действительно гуманистической первоосновы сближает эту прозу Твардовского с самыми замечательными произведениями советской литературы и, кроме того, с «Севастопольскими рассказами» Л. Толстого.

При самых, может, чрезмерных допущениях трудно переоценить его влияние на советскую поэзию послевоенных лет, да и на прозу тоже. Вряд ли кто найдется в нашей литературе, кто бы мог посоревноваться с ним в деле воспитания молодых русских и не только русских писателей. Надо полагать, что в этот скорбный час прощания вместе с многими другими не обойдут его искренней признательностью и многие наши белорусские авторы, начиная от маститого Аркадия Кулешова, творчество которого он всегда чрезвычайно высоко ценил, и кончая теми, кто помоложе,— А. Вертинским, В. Адамчиком, автором этих строк, чьи произведения в свое время имели случай попасть на его редакторский стол. Проходя у него суровую по своей требовательности школу литературы, мы постигали высоту ее идеалов, избавлялись от налета

провинциального верхоглядства, учились не пугаться несправедливости критических приговоров. И если такие приговоры случались, он не имел обыкновения оставлять беззащитного автора, торопливо лишать его кредита доверия. Наоборот, какая бы неудача ни постигла автора, если он поверил в него, то уже не изменял этому доверию и поддерживал, насколько было возможно. Отступничество было совершенно чуждо его характеру.

Литература создается не на один день и не для потреб какой-либо из очередных кампаний — ее жизнь измеряется десятилетиями, и каждая книга живет тем дольше, чем больше в ней заложено от правды народной жизни. Именно заботами о долговечности литературы и ее правдивости были пронизаны его известные выступления на партийных и писательских съездах, на встречах с журналистами и читателями. Отвечая на упреки некоторых критиков относительно его неприязни к романтическому течению в литературе, он говорил, что дело не в течении, а в каждом конкретном литературном произведении. И если это произведение захватывает душу, дает читателю жизненную радость познания, «я менее всего озабочен выяснением того — романтизм это в чистом виде или еще что. Я просто благодарен автору за хороший подарок,— говорил он.— Но если мне подносят что-то ходульное, где жизнь дается в таких условных допущениях так называемой «приподнятости», что хочется глаза закрыть от неловкости, и говорят, что это надо читать, это романтизм, то я говорю — нет».

Он часто напоминал известную в литературе истину, что главным критерием достоинства любой книги является степень обязательности ее появления в данное время. Отметая все формалистические выверты, хотя и не отрицая значения литературного эксперимента в целом, он решительно становился на защиту интересов читателя. В этом смысле он высоко ценил такие далеко не традиционные по форме, но полные социального значения произведения западной литературы, как «Чума» А. Камю, «Носорог» Э. Ионеску, «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя, фильм «Евангелие от Матфея» Пазолини. Рассуждая на тему слитности

формы и содержания, он говорил, что безответственность, беззаботность относительно формы очень часто влекут за собой безразличие читателя к содержанию произведения, так же как и беззаботность относительно содержания способна обернуться безразличием читателя к самой утонченной форме.

«Искусство мстительное,— говорил он.— Оно жестоко расправляется с теми художниками, которые сознательно или несознательно изменяют его основным законам — законам правды и человечности».

В этом замечательном пророчестве его завет нам, тем, кто волею судьбы пережил его, кому продолжать его дело, отстаивать в литературе дорогие для него идеи добра и справедливости.

1979 г.

ВСЕ МИНЕТСЯ, А ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ...

Известно, что жизнь состоит не только из праздников, которых, как ни много в календаре, все же гораздо меньше, чем будней, наполненных трудом и заботами, перемежающихся чередой неудач, порой нежданно-негаданно обрушивающихся на наши головы, как снег с чистого неба. Особенно огорчительны, если не больше, первые неудачи, последовавшие за первым же кажущимся или вполне правомерным успехом, они ранят больно и надолго; случается, что даже самые многоопытные и мужественные из людей готовы спасовать, растеряться, надолго впасть в уныние. А что уж говорить об авторе двух-трех жиденьких книжонок, только обретшем свое литературное имя и представшем перед всесоюзным читателем...

Разумеется, было нелегко. Град безапелляционных критических приговоров не оставлял сомнения в полнейшем крахе, чувство стыда и уязвленного самолюбия вызывало желание уйти в себя, замкнуться, обособиться от людей — пережить неудачу терпеливо и молча. Обстоятельства толкали к пересмотру своих собственных творческих возможностей, подмывало усомниться в самом жизненном опыте, который сослу-

жил столь предательскую службу автору. И без того незавидное положение усугублялось еще и тем обстоятельством, что добрая половина критических залпов приходилась по журналу, с известным риском опубликовавшему незадачливое произведение и выдавшему известный аванс доверия тому, кто теперь так подвел всех. Это последнее угнетало больше всего. При всей готовности терпеливо влачить свой крест неудач недоставало мужества видеть его на плечах тех, кто в чем-то переплатил тебе и теперь расплачивался хотя и не новым в литературе, но всегда чувствительным образом.

Наверно, следовало бы написать, может быть, объяснить что-то и извиниться — в конце концов, общие интересы литературы всегда важнее личных терзаний автора. Но извиниться означало признать неправоту, свое фиаско и, может быть, бросить тень на искренность своих намерений, которые тем не менее упрямо не хотели поступаться малейшей толикой своей искренности. Намерения были самые лучшие, и они страдали больше всего. Да и опыт оказался ни при чем. Опыт был самый обыкновенный, солдатский, каким обладали многие тысячи, если не миллионы, рядовых участников войны, теперь довольно единодушно свидетельствовавшие автору свою солидарность. Это была большая поддержка, дававшая какие-то крохи надежды на то, что, возможно, еще и не все потеряно. Возможно, налицо перекос, авторский или критический, возможно, кто-то кого-то недопонял, возможно, наступит переоценка.

Но шло время, переоценка не наступала, а критические залпы всевозможных калибров грозили незадачливому автору совершенно стереть его с литературного лица земли.

И вот в такие минуты горестных уныний, как раз в канун майских праздников, пришел из Москвы небольшой конверт с редакционным грифом снаружи и поздравительной открыткой внутри — обычное редакционное послание автору перед праздником, несколько напечатанных на машинке строчек с выражением привета, ниже которых характерным угловатым почерком было дописано:

ВСЁ МИНЕТСЯ, А ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

Не знаю, может, во всем этом и впрямь не содержалось ничего необычного, возможно, все это обычный жест вежливости, но для меня в тот момент эта строчка огненными буквами засияла на небосклоне, сверкнула призывным лучом маяка, вещавшим заблудшему путнику о его спасении. Действительно, как это просто! Время идет своим, не подвластным никому в мире ходом, оно хоронит династии, ровняет с лицом земли города, создает и разрушает цивилизации, одинаково расправляясь с ничтожествами и с великими мира сего, кончает с одними эпохами и начинает другие. Время безостановочно правит и судит, и ничто сущее под луной не в состоянии избежать его неумолимого приговора и в конце концов обращается в прах. Но правда ему неподвластна, и, пока жив хоть один человек на свете, не исчезнет в мире жгучая необходимость в правде, неизменно освещающей человеку и человечеству запутанный лабиринт его бытия, указующий ему путь к свободе и лучшему будущему. С правдой возможно все, без нее невозможно ничто. Без правды нет движения, без нее лишь застой, гибель, тлен...

Все минется, правда останется! Какая великая мудрость заключена в этих четырех простеньких словах древней народной идиомы!..

Не скажу, что эти слова разрешили для меня все и ото всего освободили, но все же какой-то значительный груз спал с моих плеч. Это было утешение, и я с радостью принял протянутую мне руку поддержки — тем более такую руку! Как при вспышке молнии, в темени явственно обнаружился ориентир, который я, ослепленный и растерянный, готов был потерять в громыхании критических залпов. Он дал мне возможность выстоять в самый мой трудный час, пошатнувшись, вновь обрести себя и остаться собой.

Потом были многие не менее мудрые и прекрасные его слова, были разговоры, критические и одобрительные, но именно эти первые четыре слова поддержки и утешения на всю жизнь запали в мое созна-

ние. Наверно, это потому, что сами они были исторгнуты из самых чутких глубин души великого человека, кто, может, не менее других нуждался в утешении, правде и, может быть, недополучил их при жизни. Это последнее сознавать тем обиднее, что все мы, в свое время обласканные им, возможно, чего-то недодали ему самому, по беззаботности или по наивности своей полагая, что ему-то утешение ни к чему, что его у него в избытке. А как нет? Что же тогда может извинить нам эту непростительную нашу небрежность?

И вот теперь, когда минулось многое и его уже нет, остается еще раз убедиться в непреходящей ценности правды, к которой обязывает нас память перед его светлой и огромной личностью.

1982 г.

ЗАВИДНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

Примерно за год до кончины автора этой книги, замечательного советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова, мы сидели с ним в тиши гостиничного номера в Минске, и он, как всегда, увлеченно, с завидной молодой одержимостью рассказывал о работе над своей новой книгой, о тех трудностях, которые предстояло преодолеть в этой его работе. Мы согласились, что замысел ее действительно сложен, однако не стоит огорчаться. Наверняка все сложности будут преодолены, и появится книга, вполне достойная его предыдущих книг.

Мы, однако, ошиблись.

Мы не могли предвидеть того, что пройдет год с небольшим, и этого полного душевной энергии и художнических замыслов человека не станет в живых. Но, видно, такова коварная сущность смерти,— как и на войне, бить по тем, кто, меньше всего думая о ней, отдает себя делу, людям, идеям.

Да, новая книга Сергея Сергеевича Смирнова никогда уже не появится на книжных полках наших библиотек, и, может быть, навсегда останутся неизвестными какие-то новые подвиги и их герои, кото-

рых с таким постоянством умел открывать наш дорогой писатель. Лишенная его потрясающих открытий, наша литература наверняка станет беднее с его уходом из жизни, потому что, как бы активно ни работали другие на излюбленном им поприще, заменить его не может никто. В этой огромной литературе, всегда щедрой талантами, вряд ли кто другой в полной мере обладает теми редчайшими качествами, которыми был наделен он. Наверно, это потому, что в наше сложное время и в таком многотрудном деле, которому целиком посвятил себя он, недостаточно иметь даже блестящие литературные способности и специфический дар исследователя, надобно еще уметь отстоять собственную позицию с такой непоколебимой принципиальностью, как это умел делать он.

Мы уже не увидим его новых книг, но с нами навсегда останется то поистине замечательное, что успел создать он. Его бессмертная «Брестская крепость», потрясающие рассказы о госпитале в Еремеевке, этой маленькой советской колонии на оккупированной фашизмом земле, о героях Аджимушкая, самоотверженной краснофлотской Катюше, о безвестном русском парнишке, ставшем национальным героем далекой Италии,— обо всех этих и многих других героях будут с не меньшим восторгом и упоением читать наши потомки, и их души, равно как и наши сердца, будут полны восхищением перед мужеством их молодых предков. И, надо полагать, они тоже испытают сердечную благодарность тому, кто сделал достоянием истории страдания и подвиги их далеких предшественников.

Крылатый афоризм нашего времени «Никто не забыт, ничто не забыто» лишь тогда способен обрести свой истинный смысл, когда понимается как лозунг конкретный призыв к действию, а не как констатация достигнутого. Теперь уже ясно, что минувшая война явилась целой эпохой в истории нашего народа, героизм которого долго еще будет питать наше искусство. При этом совершенно очевидно, что никому в отдельности, даже самому одаренному из литераторов, не дано рассказать о ней сколько-нибудь исчерпывающе, каждый в меру собственных сил и возможностей может засвидетельствовать лишь малую толику из

этого всенародного испытания. Но даже и в таком случае вклад Сергея Сергеевича Смирнова в военную документалистику переоценить невозможно. В течение почти трех десятилетий он искал, хлопотал, восстанавливал забытое или утраченное и в самой деловой, лишенной всяких беллетристических прикрас форме свидетельствовал о фактах, непридуманная достоверность которых способна затмить самые изощренные выдумки. В самом деле: история хотя бы той же прославленной им Брестской крепости-героя, о которой во время войны, да и в первые годы после нее решительно ничего не было известно. Теперь мы знаем о ней многое, так же как и о тех трудностях, которые преодолел писатель, прежде чем в мельчайших подробностях воскресил все перипетии борьбы горстки советских бойцов против хорошо оснащенных частей вермахта, восстановил имена погибших героев, добился реабилитации оставшихся в живых, возвысил их действительно беспримерный подвиг до всенародного признания и высоких наград. Казалось, уже одна эта крепость над Бугом могла стать делом всей жизни для любого из литераторов, а он пошел дальше, разыскал, исследовал и поведал миру о десятке других, не менее ярких, сложных и противоречивых историях войны.

За ним заслуженно и прочно утвердилась репутация певца народного подвига в минувшей войне, в этом благородном деле ему не было равных, хотя о подвигах и о войне пишут многие сотни самых разных авторов и наша военная литература, наверное, самая богатая в мире. В чем же тогда своеобразие и притягательная сила книг, созданных талантом Сергея Сергеевича?

Мне думается, что непростой ответ на этот вопрос в значительной мере заключается в личности писателя, его художническом таланте и его гражданском темпераменте. Сергей Сергеевич Смирнов не хроникер войны и даже не ее талантливый исследователь, способный извлечь из прошлого нечто значительное, осветив его лучом современной истины. Прежде всего он солдат, три десятилетия после окончания великой войны продолжавший жить изучением ее колоссальной энергии. Его, прошедшего весь кровавый и герои-

ческий путь войны, командовавшего ротой, исколесившего с корреспондентским блокнотом залитые кровью поля Украины и Венгрии, его до конца дней не переставала волновать цена принесенных жертв и пережитых испытаний. Верность памяти павших, тревога за будущее поколений побуждали его искать, докапываться до истины, восстанавливать честь павших героев и развенчивать мнимых. Его неуемной энергии хватило бы еще на десяток книг о войне, не срази его смерть так рано, в расцвете его писательской и человеческой зрелости.

Не рискуя впасть в преувеличение, можно утверждать, что его документальная проза, пожалуй, самое значительное достижение этого популярного жанра. Лишенная домысла, всякой литературной красивости, задним числом сочиненных и всегда сомнительных диалогов, она являет собой сдержанно обстоятельный рассказ о том, что в процессе кропотливых поисков удалось установить автору. Это та проза, которая, будучи созданной на основе рассказов очевидцев, на материале тщательно изученных фактов и очень немногочисленных документов, сама становится документом, бесспорным и неопровержимым, как истина. Недаром многие ее страницы явились основанием для реабилитации ее героев, последующих публикаций других авторов, для правительственных награждений и прочего. Что может быть выше и действеннее такой литературы о наших современниках?

Каждый из тружеников литературы в меру своих способностей и таланта исполняет свой так или иначе понятый им долг перед временем и народом и каждый достоин признания определенного круга читателей. Но мало у кого найдется столько читателей, так кровно обязанных автору. Сотни, если не тысячи, людей в нашей стране и за ее рубежами до конца своих дней будут обязаны Сергею Сергеевичу Смирнову за его человеческое участие в их непростых судьбах, зачастую запутанных ситуациях, когда в конечном итоге многое, если не все, определяла его человеческая совесть и его писательская принципиальность. Преждевременную смерть писателя оплакивали не только его друзья и близкие, не только благодарные ему читате-

ли, но и многие из тех, кто обязан ему как бы вторым рождением.

Что ж, завидная человеческая участь, прекрасная писательская судьба!

1977 г.

НА РУБЕЖАХ ДОБРА И ЛЮБВИ

Думается, Юрий Бондарев не нуждается в представлении читателю — на протяжении вот уже более двух десятилетий его имя хорошо известно самому широкому читательскому кругу. Почти все написанное им, начиная со знаменитой, во многом этапной для нашей военной прозы повести «Батальоны просят огня» и кончая недавним романом «Горячий снег», неизменно вызывало самый горячий читательский интерес как новизной трактовки многих проблем войны, так и незаурядным изобразительным мастерством.

На этот раз Юрий Бондарев выступает с новым романом, представляющим собой своеобразный художественный синтез темы войны и мира, синтез, вобравший в себя проблемы нравственности, психологии, проблемы мирного сосуществования в Европе, по-прежнему разделенной границами, блоками, идейной и нравственной несовместимостью, психологическими предрассудками, что в наше время не может не вызывать озабоченности всех честных людей земли.

«Берег» — произведение сложное по своему построению, главы о современной действительности чередуются в нем с обширными ретроспекциями, изображающими последние дни войны, но весь этот, казалось бы, разнородный и разноструктурный материал подчинен общей идее и мастерски сплетен в неразрывное повествование о людях войны и мира, образы которых выписаны с удивительным мастерством по глубине и точности их психологии, без малейшей попытки сгладить какие бы то ни было шероховатости их характеров или трудности их взаимоотношений. Прежде всего это разные люди — юный и остро чувствующий лейтенант Никитин и столь же прекрасный

в своем молодом ригоризме лейтенант Княжко, властный и импульсивный комбат Гранатуров и совершенно новый характер в военной литературе — командир орудия сержант Меженин, натура сложная и в то же время примитивная своим грубо замаскированным животным эгоизмом. Конфликт между ним и Никитиным, их роковое столкновение после гибели лейтенанта Княжко при всей их конкретности носят расширительный, почти символический характер. В нравственном отношении это две противоположные натуры, возможность добропорядочного сосуществования которых в условиях, когда исчезла недавно еще объединявшая их цель совместной борьбы против общего врага, стала весьма проблематичной. Но автор не идеализирует и Никитина, изображая во всей противоречивой сложности характер молодого человека, вдруг шагнувшего из войны на непростой рубеж мира и вдобавок захваченного более чем затруднительным по тому времени, неожиданно вспыхнувшим чувством к немецкой девушке Эмме. Все это написано с истинно художническим вдохновением. Трудная, исполненная драматизма история этой несостоявшейся любви привела к неожиданной, как и разлука, их встрече в современном Гамбурге, не многое, однако, прояснив в их отношениях и многое усложнив — ведь минуло три десятка долгих, слишком по-разному прожитых ими лет, в течение которых все переменилось в мире и так мало осталось от их юной любви.

В немногих произведениях нашей литературы с такой яркостью и глубиной созданы образы различных представителей современной западной интеллигенции, как это сделано в «Береге». Избегая обычного в таких ситуациях гротеска, не сглаживая и не выпячивая трудностей нравственного и идеологического порядка, стоящих на пути к взаимопониманию между буржуазной интеллигенцией и советскими людьми, Юрий Бондарев делает успешную попытку проникнуть в сознание лучших представителей этой интеллигенции, чтобы разобраться в ее заблуждениях, равно как и в природе ее критицизма по отношению к сытой бездуховности своего общества. Свежо и мастерски выписанные сцены быта и нравов большого западногерман-

ского города, захлебывающегося в угаре «свободного» предпринимательства и столь же неограниченного материального потребления, вызывают гнетущее ощущение человеческой малоценности в этой пресыщенной благополучной среде. При этом становится очевидным, что сущность бездуховности чрезвычайно многообразна и разнохарактерна в своих проявлениях как в большом, так и в малом, по отношению к человеку, вещам и природе.

Все сказанное, однако, даже в малой степени, не исчерпывает содержания этого произведения. «Берег» — роман военный и роман социальный, роман психологический и роман философский. Вдумчивая наблюдательность автора, непредвзятость его суждений, стремление к углубленному проникновению в непростые события и значительные характеры делают его одним из самых заметных явлений современной европейской литературы.

* * *

Нечасто так случается в литературе, что одно из первых произведений молодого писателя делает переворот в определенном ее направлении, становится вехой, хотя, быть может, и спорной в момент ее появления, зато отчетливо видной и широко признанной по прошествии лет.

Со времени появления «Батальонов» Юрия Бондарева минуло более четверти века, отшумели многие литературные и прочие споры, и теперь мы имеем возможность четко определить как тщету их, так и правоту, которая, как это нередко бывает, в конечном счете остается за художником. Да, художником, каким с самого начала предстал перед читателями Юрий Бондарев, подтвердивший свой незаурядный талант целым рядом замечательных произведений, обогативших великую русскую литературу.

Широта литературных интересов Юрия Бондарева общеизвестна, она поражает как глубиной постижения истины, так и разнообразием человеческих отношений. Но главное, что на протяжении ряда лет питает не-

ослабевающий читательский интерес к его творчеству, так это его неизменная верность проблемам минувшей войны, его непреходящее пристрастие к характерам сложным, судьбам, так или иначе опаленным горячим дыханием войны. И если в его первых повестях и романах мы видели человека на войне, в разбитых снарядами окопах, на разметанном взрывами снегу, в момент единоборства с немецкими танками, то в последующих произведениях этот выживший в жаркой схватке с фашизмом, постаревший и помудревший человек мучается над многими проблемами мирного бытия, среди которых, однако, главнейшими являются все те же, порожденные недавней борьбой с фашизмом. И в этом — проявление не прихоти художника, а насущная необходимость поколения, пережившего войну и познавшего истинную цену человеческого существования.

Юрий Бондарев — признанный бытописатель фронтовой судьбы поколения, лишившегося на войне девяноста семи процентов своих ровесников. Столь колоссальный урон одного поколения, конечно же, не мог не сказаться на духовном развитии нации, и отзвуки этого факта, так или иначе присутствуют в каждом произведении писателя, будь то роман о войне, о трудной послевоенной судьбе или повесть о тех, кого недавнее прошлое безжалостно настигает в их многосложном сегодня. В последних произведениях писателя рамки этой судьбы значительно раздвигаются, включая в себя новые связи и делая новые, порой неожиданные, но всегда важные выходы в наше время, а также в грядущее будущее. Усложненная философичность бондаревских вещей поднимает их до высокого звучания, нечастого сегодня, но столь традиционного для лучших образцов отечественной и мировой классики.

Юрий Бондарев — обладатель ценного дара трепетного живописания словом, тончайшего анализа сложных психологических состояний; его языковое мастерство не может не покорять красотой и изысканностью слога. В то же время вслед за многими исследователями его творчества нельзя не поразиться умению, с каким Ю. Бондарев лепит характеры, всег-

да самобытные, ничуть не похожие ни на какие из их литературных предшественников, верные той правде времени, которая постигается лишь впечатлительной душой и недюжинным жизненным опытом.

Волею судьбы или случая счастливо избежавший участи тех девяноста семи процентов своих ровесников, останки которых покоятся в тысячах братских могил, разбросанных на огромном пространстве от Волги до Эльбы, Юрий Бондарев остро осознает свой художнический долг и талантливо возвращает его человечеству. Имя этому долгу — правда о минувшей войне и неусыпная забота о будущем, столь хрупком и проблематичном в наш беспощадный ядерный век.

1975 г.

ВЕРНОСТЬ ПАМЯТИ

Для многих из нас, бывших фронтовиков, в первые годы после окончания войны не все написанное о ней имело притягательную силу. Скорее наоборот. Хотелось по возможности отрешиться от недавно пережитой военной действительности, войти в мирную жизнь, из которой мы были так неожиданно вырваны в годы своей ранней юности и о которой столько мечтали в боях. Но, удивительное дело, по прошествии небольшого времени это наше военное прошлое стало обретать все более емкий и разительный смысл, в котором увиделось многое не только из войны.

Первая военная книга Григория Бакланова поразила меня, как не поражали иные прочитанные до нее книги о войне. Это произошло в конце пятидесятых годов, еще до появления его «Пяди земли», сделавшей его имя широко известным в нашей литературе. Название этой его, кстати, не самой популярной книги — «Южнее главного удара», и повествуется в ней о нескольких считанных днях тяжелых оборонительных боев у озера Балатон в Венгрии. Эта талантливо написанная повесть — концентрат суровой правды о войне, какой она навеки запечатлелась в сознании переживших ее фронтовиков, достойный памятник тем

многим тысячам наших ровесников, что навек остались в изрезанной мелиоративными каналами и засаженной виноградниками балатонской земле. Потом появились другие его повести — знаменитая «Пядь земли», яркая, как вспышка ракеты, «Мертвые сраму не имут», емкий и мудрый «Июль 41-го года», в которых минувшая война предстала в новых, не менее впечатляющих образах. Но эта первая военная повесть Г. Бакланова явилась для меня необыкновенно наглядным примером того, как неприкрашенная военная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красоты и правды. Во всяком случае, с благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся.

Сила баклановского таланта, на мой взгляд, заключается прежде всего в его мудрой, все сохраняющей в себе памяти — на детали, атмосферу, психологические состояния тех невозвратно уходящих в прошлое лет. Именно черпая из этой памяти, художник плавит в тигле своей души высокую правду о войне, умело очищая ее от разрушительных наносов красивости, приблизительности, избитой мертвой риторики. Во всем, что бы ни писал Бакланов, он удивительно конкретен и точен. Так, например, в окопном артиллерийском быту после выхода его книг просто стало затруднительным отыскать свежую, не использованную им деталь, обнаружить сколько-нибудь новый тип солдата или младшего офицера. Он выстроил целую галерею великолепных по своей достоверности характеров фронтовиков, каждый из которых мог бы стать гордостью любого автора — столько в них точности, верности натуре, психологической и социальной емкости. При этом нельзя забывать, что такие характеры, как Богачев, Мотовилов, Ищенко, Прищемихин, сочинить невозможно, их надо наблюдать много лет, жить с ними, пролить кровь и пережить войну, чтобы впоследствии с такой достоверностью воплотить их в литературе.

Верность факту военного прошлого, реалиям и людям войны сделали прозу Бакланова такой емкой, точной и умной, появления какой трудно было ожидать

спустя два десятилетия после окончания войны, имея в виду количество о ней написанного. Но в его книгах война ожила новой жизнью, в ней появились новые живые люди с их горем и радостями, простодушием и хитростью — со всей сложностью невыдуманных их натур. К тому же каждая его военная повесть — это не просто военная повесть — это не просто произведение про войну вообще, это еще и документ, множеством явных и едва уловимых примет привязанный к конкретному периоду войны, месту, определенным боям. Так, «Пядь земли» — это один из днестровских плацдармов 1944 года. «Мертвые сраму не имут» — фронтовой эпизод зимы того же года на Украине, «Южнее главного удара» — Секешфехервар, Венгрия. Одни только названия слишком о многом говорят помнящим их фронтовикам, потому что за каждым из них кровавые бои, ранения, смерти товарищей. Что и говорить, баклановские книги не для легкого чтива, в них, может быть, слишком много смертей, крови, горечи боевых неудач, но зато и не менее доблести, стойкости, душевной красоты и мужества. Да и возможно ли иначе? Разве величайшая из наших побед не далась нам самой великой ценой, которую когда-либо в истории платил наш народ?

Примечательно, что проза Бакланова, кроме того, что глубоко драматична по своей сути, еще и полна тонкого, неизъяснимого лиризма, как бы доброго, все понимающего взгляда человека, искренне и по-настоящему любящего людей. Многие его страницы освещены тихим светом добра и сочувствия. В то же время, пожалуй, редко кто другой в нашей литературе так нетерпим ко всякого рода подлости и фальши, как Григорий Бакланов. Но даже в своих осуждениях он немногословен и сдержан. И это прекрасно.

И еще — главный герой его книг почти всегда молодой человек.

Возможно, это потому, что наше поколение очень молодым пошло на ту, может быть, последнюю войну и наша молодость определила в ней и нашу судьбу. Мы были солдатами или лейтенантами, соответствующим нашему чину оказался и наш опыт — опыт фронтовиков-окопников, сугубо солдатский опыт, который

получили на войне миллионы. Вряд ли кто из нас рассчитывал дожить не только до генеральского чина, но и до генеральского возраста, такого рода мечты были для нас «не по карману». И если все-таки судьба смилостивилась к некоторым из нас и мы нынче имеем возможность чествовать одного из наших ровесников, то делаем это с радостным сознанием того, что слепой выбор судьбы не оказался напрасным. Что касается Григория Бакланова, то он с лихвой и щедростью, присущей большому таланту, оплатил эти ему подаренные войной годы, создав немало поистине прекрасных страниц о нашем трудном и героическом прошлом.

ПО ПРАВУ ФРОНТОВИКА

Есть писатели-универсалы, способные благодаря особенности своего таланта изобразить любую картину, разработать любую тему, которые под их пером неизменно обретают интерес и художественную выразительность. Есть и другая категория авторов — верных однажды избранной теме, в исследовании которой они достигают порой значительного взлета именно в изображении прошлой войны, хотя в его творческом активе наличествуют и такие несомненные удачи мирной темы, как многие рассказы или широко известная повесть «Карпухин». В последнем, майском, номере «Октября» он выступил с новым произведением на свою прежнюю тему — повестью о войне «Навеки — девятнадцатилетние».

Следует сразу заметить, что вся военная проза Г. Бакланова, начиная с его первой повести «Южнее главного удара», отличается скрупулезным вниманием к мельчайшим подробностям солдатского быта, окопного житья, сложнейшим перипетиям боя и человеческой психологии в бою. Он мастер точного и емкого слова, уверенно владеющий фразой, рожденной мыслью и незамутненным художническим видением. Как и в предыдущих своих произведениях («Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», «Июль сорок первого»), в этой его повести проявляется завидная свежесть памяти о тех огненных годах, которые уже так отдалились от нас, унося в забвение многое, что еще

недавно, казалось, невозможно забыть. Но такова, видно, особенность человеческой памяти. К счастью, настоящий художник не может себе позволить забыть не только важнейшие события той трудной поры, но даже ее, казалось бы, второстепенные мелочи и — что важнее всего — столь важные для искусства душевное состояние людей войны, их чувствование, настроение — мир их души.

Сюжетное построение повести осуществлено преимущественно на романной основе и включает в себя год жизни героя, девятнадцатилетнего лейтенанта Третьякова. Это повесть о войне, но в ней вы не много найдете батальных картин, а те, что там есть, написаны с присущим Бакланову вкусом и множеством содержательных подробностей. Именно авторский вкус позволяет ему избежать порядочно поднадоевших тривиальностей в изображении солдатского героизма, хотя поведение Третьякова во время атаки можно расценить как подвиг. Это, если можно так выразиться, дважды в течение года совершенное прикосновение лейтенанта к войне, после первого из которых последовал долгий период пребывания в тыловом госпитале, а после второго ему суждено навеки остаться девятнадцатилетним. Между первым и вторым боями пролегла вся трудная госпитальная молодость Третьякова с ее переживаниями и мечтами, страданиями и любовью — вся судьба людей поколения, в ранней юности безоглядно шагнувшего навстречу огненному шквалу войны и по преимуществу безвозвратно оставшемуся там. Так уж сложилось, что именно эти 18—20-летние ребята навеки упокоились в многочисленных братских могилах, разбросанных по Европе, в засыпанных взрывами воронках, обрушенных траншеях и ровиках. Известно из статистики, что их, рожденных в 1922—1925 годах, вернулось с войны лишь трое на сотню.

Безвременная их утрата — это не только скорбный финал индивидуальной судьбы, но и непреходящая скорбь близких, невозместимые потери народа, сказавшиеся и на судьбе последующих поколений. Это, наконец, вечный долг, лежащий на немногочисленных их сверстниках, который лишь частично может быть

возмещен разве что немеркнущей с годами памятью. Талантливо засвидетельствованная в искусстве солдатская память становится своеобразным обелиском, воздвигнутым живыми своим павшим братьям.

В повести лишь один главный герой, проходящий перед читателем с первой до последней страницы, хотя соприкасается он со многими людьми на фронте, в тылу, в госпитале. Пристальное внимание автора к своему Третьякову, однако, не мешает ему точно и зримо, на глазах у читателя, лепить другие характеры, как бы ярко высвечивая их своим внутренним художническим зрением. Это, надо полагать, нелегко, если помнить о разделяющей нас дистанции времени, и тут невозможно не порадоваться завидной способности автора помнить и видеть все. Замечательно, что в повести совершенно не чувствуется вымышленного, все словно почерпнуто, пережито, вынесено из личного опыта автора. Хотя, разумеется, это не так. Каким бы разносторонним он ни был, этот авторский опыт, его всегда недостаточно для создания значительного художественного произведения. Тем удивительнее эта способность таланта — с такой убедительной достоверностью вызывать из небытия прошлое, населять его полнокровными, живыми, легкими для узнавания образами.

В отличие от предыдущих военных повестей Г. Бакланова последняя содержит множество характерных черт и бытовых реалий жизни в тылу, будней далекого уральского госпиталя с его разнохарактерными типами раненых, врачей, санитарок. Перевернув последнюю страницу повести, вы будете долго помнить изуродованного на войне младшего лейтенанта Гошку, ослепленного капитана Ройзмана, командира роты Старых, человека нелегкой судьбы Атраковского. Реалистически выстроенная, лишенная нередко в таких случаях налета слащавости, юношеская любовь Третьякова к вчерашней школьнице Саше подкупает целомудренностью отношений, рядом тонко подмеченных душевных состояний.

Повесть начинается лаконичной по описанию, но многозначительной по смыслу сценой обнаружения в старом засыпанном окопе останков воина, армейскую

принадлежность которого можно определить лишь по едва сохранившейся, со звездой, пряжке. Это очень знакомая, даже характерная для Белоруссии картина, где вот уже много лет усилиями общественности и юных следопытов продолжается розыск одиночных могил и случайных воинских захоронений, после чего идут долгие месяцы поиска имен героев. Не всегда он заканчивается успешно. Но когда это случается, ничто из добытого у прошлого и отвоеванного у безвестности не оставляется без внимания. Печать, радио, телевидение рассказывают о жизни и последнем бое погибших, смысл их ратного подвига становится достоянием всех. Особенно нынче, когда белорусский народ готовится торжественно встретить 35-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

В заключение хочется высказать уверенность, что последняя повесть Григория Бакланова явится серьезным приобретением нашей военной прозы, своеобразным обелиском памяти «навеки девятнадцатилетних», талантливо созданным одним из их счастливо уцелевших ровесников.

1973 г.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Хорошие вести в жизни приходят каждая в свой черед, являясь следствием каких-то причин, сообразуясь с логикой характеров, поступков людей. Скверные же всегда алогичны, нелепы, потрясающе неуместны. К ним привыкаешь долго, в течение всей жизни, а иногда и жизни не хватит, чтобы примириться с ними. В автомобильной катастрофе погибли работники «Мосфильма» — кинорежиссер Лариса Шепитько и ее коллеги.

Я хорошо знал Ларису Ефимовну Шепитько. Ее гибель — невосполнимая утрата для всех, знавших ее, смотревших ее трудные и очень человечные, не похожие ни на какие другие фильмы — страстные создания ее незаурядного таланта, ее беспокойного духа, исполненного болями и бурями нашего века. Трудно понять эту утрату, еще труднее примириться с нею.

Но что делать — смерть слепа, случай всегда лишен смысла. Черный и нелепый случай, так непоправимо и враз перечеркнувший человеческую судьбу, жизнь большого художника в самом расцвете его творческих сил.

Будто предчувствуя свой роковой предел, она всегда торопилась. Все ей казалось мало, она опасалась не успеть, опоздать. Уже были сняты отличные картины, принесшие ей премии и мировую известность, а жадность ее к работе не убывала с годами. Кажется, она всегда знала, что нет «вечности», и непрестанно билась над совершенствованием средств выражения своих идей языком кино, стремясь к высокому смыслу и высокой артистичности в каждом фильме. Наверное, как немногие в современном кинематографе, она понимала решающий смысл духовного содержания искусства и умела гармонически воплотить его в каждой работе. Часто это было непросто. Все работавшие с нею над «Восхождением» знают, как давалась ей эта далеко не «женская» картина, но и Лариса была наделена безусловным пониманием того, что только она может сделать то, что она делает. Так уж случилось, что именно эта слабая женщина и великолепный режиссер взвалила на себя тяжелейшую глыбу труднейшего материала и уверенно поднялась с ней на одну из вершин современного кинематографа. Да, в ней жил мужественный художник современного кино, уроки которого не потеряют смысла и для последующих поколений кинематографистов.

Она всегда докапывалась до первопричин и корней, искала в глубинах народной жизни, в тайниках человеческого духа. Логика ее мышления порой изумляла, порой восхищала, что в общем-то понятно — она была художником, напряженно мыслившим. И еще — она всегда была оптимисткой, никогда и никакие неудачи не могли ввергнуть ее в уныние. Она свято верила в свою счастливую звезду, равно как и в счастливый исход всех своих благих намерений, какие бы тернии ни лежали на ее далеко не легком пути. Теперь я понимаю, почему так: помыслы ее были светлы, а деятельная ее натура таила в себе неиссякаемые запасы энергии.

Она всегда была в работе, в ее воображении всегда теснились интересные образы, и ее замыслам не было конца. И в нее верили, от нее многого ждали.

Если бы не этот нелепый финал...

Но что делать — давно и не нами сказано, что жить — значит терять. Конечно, терять всегда горько, и как бы мы ни утешали себя тем, что после Шепитько останется многое, как бы ни клялись помнить ее прекрасные фильмы и ее милый образ — плохое это утешение. Навсегда оборвалась человеческая жизнь, прекратился творческий путь художника, и никто больше на этой земле не создаст того, что могла и стремилась создать Лариса Шепитько, никто и никогда не заменит ее. Искусство кино потеряло одного из самых замечательных своих художников, и наша скорбь безутешна.

1979 г.

СИЛОЙ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

«Как это страшно, когда человек улыбается».

Именно страшно, как ни парадоксально звучат эти слова, но в тех бесчеловечных условиях, атмосфере крови, безвинных смертей и жестокой борьбы проявление естественных человеческих чувств казалось непонятным и противоестественным. Нормальное человеческое восприятие всякий раз пасовало перед тем, что приходилось видеть и переживать, перед непомерными психическими и нравственными перегрузками, перед патологической жестокостью карателей, многие поступки которых непостижимы с позиции элементарной логики. «Просто ушли все мерки: когда человек должен плакать, когда улыбаться». Возможно, именно по этой причине герой «Хатынской повести» лишен нормального восприятия, то утратив слух (после контузии), то зрение в результате все той же контузии. Но именно эта его увечность и наделяет его особой способностью ощущать прошлое, придает чрезвычайную зоркость его душевной памяти, в которой навек незамутненными запечатлелись образы всенародного

испытания, партизанские будни — долгие годы кровавой войны.

При появлении «Хатынской повести» Алеся Адамовича многим казалось, что это произведение строго документального, почти мемуарного жанра, привязанное к конкретному месту и времени, с кругом вполне достоверных событий и действующих лиц. Такому впечатлению в немалой степени способствовало и название, прямо относящее повествование к трагической истории всемирно известной белорусской деревни, уничтоженной фашистами в 1943 году. Кроме того, читатели уже знали Алеся Адамовича как автора партизанской дилогии «Партизаны», где со скрупулезной правдивостью и полнотой нашли свое воплощение личный опыт Адамовича-партизана, его семьи, кошмарная атмосфера оккупации и многие страницы партизанской борьбы в лесах Белоруссии.

Да, задолго до того, как стать писателем и ученым-литературоведом, Алесь Адамович прошел жестокую школу войны, которая застала его зеленым подростком и, проведя через кровавое горнило борьбы, выпустила в мир обогащенным уникальным опытом партизана-антифашиста. Именно там, на войне, в лесах и болотах Бобруйщины, Адамович постиг непреходящую ценность таких человеческих качеств, как верность дружбе, товарищество, преданность и героизм, познал зловещие следствия подлости и измены — всего того, что в последующем ляжет в основу его блестящей военной прозы и в немалой степени определит его человеческое и художническое мировоззрение.

Однако каким бы ярким и самодовлеющим ни был личный военный опыт автора «Хатынской повести» и ее документальная основа, по прочтении ее становится ясно, что этот опыт, кроме того, счастливо оплодотворен недюжинным талантом художника и мыслителя, всегда остро и точно чувствующего время, живое биение человеческого сердца в нашем творческом мире. В повести мы часто встречаемся с многочисленными выходами автора-рассказчика в материал наших дней, жадно прислушиваемся к его размышлениям или диалогу Гайшуна с его постоянным оппонентом Бокием, и в этих диалогах находим новое постижение глубины

и смысла прошлой войны. Тема ее в течение многих лет не оставляет Адамовича-художника и Адамовича-публициста, как не оставляет она и человечество, спустя сорок лет снова очутившегося перед ужасающей катастрофой, грозно нависшей над миром. Силой таланта прозаика мы снова переносимся в то грозовое время и вместе с героями совершаем беспримерную одиссею по мукам и смертям.

Горят леса и деревни Бобруйщины, всю ночь в разных местах пылает горизонт, удушливо чадят торфяники, темень ночи то и дело прорезают трассирующие очереди немецких пулеметов, в небе рябит от сверкания ракет, и в этой огненной круговерти, как в безысходной западне, мечутся тени партизан и среди них четырнадцатилетний подросток Флера Гайшун. На первый взгляд кажется, ну, что они могут, эти оголодалые, вымокшие в болотине, измотанные бессонницей люди, что они могут, кроме как бесславно погибнуть под адским огнем скорострельных немецких пулеметов? Они и погибают в самом деле, но последний из них, Флера, до последней возможности делает то, ради чего послан из леса — он добывает пищу для женщин и детей, много дней голодающих в болотах на торфяном острове. Не его вина, что вылазка эта оканчивается столь трагично, а сам Флера оказывается в обстановке еще более ужасающей — его хватают каратели и вместе с жителями деревни Переходы загоняют в сарай — на сожжение. Случай оставляет его в живых, и мы благодарны этому случаю, так как становимся свидетелями новой цепи жестоких испытаний — боя с карателями, захвата их партизанами, наконец, находим маленький философский шедевр, почти самостоятельную новеллу в повести — круговой бой карателей с партизанами. И все это глазами Флеры, через его юношеское восприятие, одинаково обостренное к собственным и чужим переживаниям, к своим и немцам, к хорошему и плохому. Не случаен именно такой герой в повести А. Адамовича, он с наибольшим чистосердечием и глубиной транслирует нам из прошлого самые душераздирающие моменты войны, которые годы спустя преподаватель вуза Гайшун осмысливает философски, с позиции нового времени и опыта

прожитых лет. Военный же подросток Флера не слишком умудрен знаниями, пока он эмпирик, но война муками проходит через его сознание, и ему нужно немало сил для того, чтобы выстоять в ее дьявольских передрягах. Он борется с врагом и противостоит напору каждодневных потрясений, когда утешает «сумасшедшая мысль, что маму, сестричек, что всех деревенских уже не убьют, никогда не убьют», потому, что уже убили и тем обезопасили от новых безмерных страхов и мучительного ожидания смерти. В другой раз потрясенный зверской расправой над безвинными жителями Переходов, Флера думает о захваченных в плен палачах, что им мало смерти, что они только того и ждут, чтобы от тяжести своих злодеяний «спрятаться в смерть», тем самым избежав чего-то несравненно большего, чего они заслужили. Непомерны, на грани патологического, мысли и чувства юноши, но они обусловлены чудовищным ходом событий, в которых ему приходится участвовать. Не всякому по плечу то, что пришлось пережить Флере, утратившему на войне здоровье, зрение, но сохранившему веру в высокое предназначение человека

Безусловно, главный, «сквозной» герой повести Флера Гайшун, кроме которого, однако, на ее страницах проходят перед читателем колоритные партизанские образы командира отряда Косача, чересчур говорливого в момент опасности партизана Рубежа, который пытается тем самым побороть свой страх и добросовестно делает свое нелегкое дело; подорвавшего себя в безвыходной ситуации одноногого Степки-фокусника, неукротимого в безудержном порыве отмщения за односельчан Перехода. Полный девичьего обаяния образ тоненькой, «как линеечка», девочки-девушки Глаши естественно и легко входит в тревожное сознание Флеры первым, еще не осознанным чувством любви, чтобы спустя годы превратиться в зрелое чувство к Глаше — жене, матери его сына. Искусно очерченный треугольник Флера — Глаша — Косач немного проявляет в повести, однако в своем подтексте содержит богатый драматический материал человеческих отношений, значителен и правдив в своей непростой природе. В самом деле, если война изуродовала

Флеру физически, то она же не пощадила и сильного, бравого командира отряда Косача, «выстудив» его нравственно, превратив, по словам Глаши, в «вымороженный дом с выдранными дверями и окнами». Естественно, что Глаша предпочитает ему незрячего, но сохранившего человеческое тепло Гайшуна, — тепло, которого так не хватает многим «высушенным», «выстуженным» в жестоких испытаниях войны.

«Хатынская повесть» — это талантливо воплощенная память войны, повесть-напоминание и повесть-предупреждение. Опыт тех, кто пережил войны, не может пропасть даром, он учит человечество, может, самой элементарной из истин: только не щадя своей жизни, можно отстоять свободу и победить врага. Тем более такого изощренного, каким был немецкий фашизм.

Художественно-философское разоблачение всех разновидностей мирового фашизма по-прежнему является важнейшей темой современного искусства. Это и понятно, потому что фашизм — явление живучее, многоликое, способное, как показала жизнь, с одинаковой жестокостью поражать народы всех континентов. Убедительный тому пример — памятные события в Чили или недавняя трагедия Кампучии, которые, несомненно, послужат исходным материалом для многих произведений мирового искусства.

Что же касается советской литературы, то она продолжает разрабатывать опыт борьбы советского народа с немецким фашизмом, принесшим ему неимоверные страдания. Именно в этом русле создана и другая повесть Алеся Адамовича — «Каратели».

Автор исподволь, неторопливо подводит читателя к широкой панораме трагедии белорусского поселка Борки, прослеживая весь дьявольский ход этой «акции устрашения», одной из многих, заливших невинною кровью оккупированную землю Белоруссии. Здесь, в Борках, ее осуществлял проклятой памяти батальон одного из нуворишей нацизма доктора Дирлевангера, который явился инициатором и режиссером множества подобных акций в Белоруссии и Польше, но начинал он с Борков, где в течение одного дня было уничтожено почти две тысячи ни в чем не повинных людей.

Конечно, для работы такого масштаба требовались опытные исполнительские кадры, и они нашлись у Дирлевангера. Разные пути привели их в это одно из самых жестоких карательных формирований фашизма, но в самом начале каждого были страх и желание выжить любой ценой. Это была действительно банда уголовников и предателей различных возрастов, вероисповеданий и характеров, объединенных патологическим усердием в своем стремлении угодить фашизму.

И здесь Алесь Адамович далек от сочинительства, фабульная основа его повести строго и подробно документирована, вплоть до мельчайших подробностей. Автору не много пришлось домысливать — история уничтожения Борков хорошо известна в Белоруссии. Главной его задачей было желание рассказать об участниках и вдохновителях, начиная с Гитлера и кончая последним рядовым полицаем — плюгавым Доброскоком.

Задача, надо прямо сказать, не из легких. Она требовала не только углубленного знания оккупационной атмосферы, условий партизанской борьбы, но и недюжинного таланта психоаналитика, способного постичь ущербную психику людей, которых с позиций нормальной человеческой логики понять невозможно. Адамович понял, чтобы разоблачить и возненавидеть.

Несложная на первый взгляд схема многих характеров, однако, таила в себе всю запутанность человеческих отношений, разобраться в которой — благодатная задача художника. Одна из таких непростых, посвоему усложненных бесконечною цепью преступлений натура самого Дирлевангера, в чем-то повторяющая патологическую сущность фюрера и развивающая ее кровавой конкретикой действия. Дирлевангер деятелен, по-своему умен, решителен, твердо верует, как он сам формулирует, в силу «национал-социалистических идей и детской крови». В то же время это типичный мелкобуржуазный делец, даже на войне содержащий работающую на него сапожную мастерскую с группой обреченных евреев, сожительствующий с женщиной, «сомнительной» в расовом отношении, что по нацистским установкам считалось немалым риском. «Сорвиголова этот Дирлевангер!» — восхищенно думают о нем

подчиненные, подобострастно внимая его каннибальской заповеди:

«Я не против, чтобы вы спали с русской девкой, но вы обязаны тут же, своей рукой застрелить ее».

Стрелять они умели.

Рядовой полицай Тупига, один из самых усердных убийц батальона, так поднаторел в своем деле, что тянет пулеметной очередью, «как опытный портной шов — твердо и плавно...». Это палач по призванию, он патологически влюблен в свое ремесло и убежденно ненавидит тех, кто от этого ремесла отлынивает.

Особое место в повести занимают взаимоотношения командира карательного взвода Белого с его дружком Суровым, воплощением черной совести взводного, своеобразным его алиби на непредвиденный случай, человеком-«ксендзом», у которого что-то зашито в подкладке — индульгенция за прегрешения на двоих. При всей фатальной разобщенности фашистских прислужников эти двое до поры до времени действительно сплочены одной тайной, гнетущим намерением выпутаться из положения, которое в принципе не имеет выхода. Несмотря на все их старания, фашистская действительность оказывается сильнее, и планы Белого — Сурова рушатся. Впереди тупик.

Точно таким же тупиком, лишь растянутым по времени, заканчивается преступно-мятущаяся жизнь ротного Мельниченко, одного из приспешников националистического охвостья, пошедшего за Гитлером по убеждению.

Послушно расправляясь с белорусскими деревнями, убивая во дворах, в избах, в сараях, они тем самым неотвратимо приближали себя к той последней черте, за которой их ждало полное расчеловечение, тотальное освобождение от всех нравственных обязательств перед людьми и страной. Моральный и духовный примитивизм этих людей позволил фашизму использовать их по своему усмотрению и с наибольшим эффектом, независимо от их воли.

Все они склонны к размышлениям и рефлексиям на досуге, так или иначе объясняя свое положение. Полицаи поменьше чином обычно не рассуждали, они делали свое кровавое дело с фанатичной тупоголо-

востью. С ужасающими подробностями в повести воссоздается поистине апокалипсическая картина уничтожения одного из лагерей в Бобруйске, когда под предлогом спровоцированных беспорядков гитлеровцы расстреляли всю многотысячную массу военнопленных. Немногие уцелевшие в этом аду после всего пережитого, сломленные и душевно искалеченные, пошли служить немцам, не подозревая, что впереди их ждет нечто похуже.

Этих людей нельзя ни понять, ни оправдать.

Потому что, погибая сами, они не вправе были губить соотечественников, пособничать врагу, становиться послушным орудием в преступных фашистских действиях. Все дальнейшее, что случилось с теми, кто пошел в услужение к палачам, находилось за пределами человечности, потому что платой за преступную собственную жизнь были реки крови безвинных. Постепенно, но неотвратимо обрывались все нити, связывающие их с прежней довоенной жизнью, и каждый день их существования лишь усугублял их и без того непомерную вину перед Родиной. При всей кажущейся интегрированности их судеб и поступков они каждый до конца оставались удивительно отмежеванными друг от друга, исступленно одинокими в своем ежечасном и ежедневном усилии переиграть смерть. Разумеется, это было непросто в обстановке непрерывных боев с партизанами, атмосфере ненависти со стороны населения, безжалостного фашистского террора, когда зачастую с одинаковой легкостью катились в общую яму головы жертв и головы их палачей.

Композиционное строение повести представляет собой безжалостный разрез — обнажение всей дьявольской системы фашизма. Немного найдется в нашей литературе произведений, где бы на такой относительно небольшой площади с такой яркостью и глубиной было препарировано все социальное явление, построенное на страхе, бездумном подчинении и авантюризме. Книгу начинает и заканчивает выписанный изнутри образ Шикльгрубера — Гитлера с его пространными рефлексиями-монологами, полного непомерного честолюбия и бахвальства, изобличающими ничтожество обывателя, капризною волею случая вознесшегося

над одним из древнейших государств Европы. Во многие положения его бредней просто трудно поверить, если отрешиться от мысли, что в свое время они двигали судьбами народов. Именно этот во всех отношениях заурядный авантюрист, возомнивший себя орудием провидения и мессией германцев, стал непосредственным виновником гибели более 40 миллионов человек в Европе. Однако и этого ему было мало, он мечтал о власти над миром, осуществляемой с высот Гималаев. История, однако, распорядилась иначе, и незадачливый ницшеанский последыш на глазах у всего человечества сам превратился в недочеловека, трусливую обезьяну на дереве.

Повесть насыщена обильным документальным материалом о людях и событиях минувшей войны и является новым свидетельством героической борьбы народа против его угнетателей.

Многие ее с умом и блеском написанные страницы согреты благородным чувством любви и признательности к тем, кто погиб, не преступив человечности, исполнены ненависти к палачам, пролившим невинную кровь во имя сумасбродных идей фашизма. Автор со всей очевидностью и глубиной вскрывает подлую природу страха и предательства, в финале которых — всегда смерть и презрение.

Эти две самобытные и во многих отношениях поучительные повести, несомненно, принадлежат к тем счастливым произведениям литературы, которым уготована долгая жизнь.

1980 г.

НА ТЫНЯНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

Развитие любой современной науки, в том числе филологической и литературоведения, в качестве непременного условия требует досконального освоения предшествующих накоплений, полного уяснения связей между предыдущими и последующими периодами. Этой важной задаче как нельзя лучше служат Тыняновские чтения, регулярно проводимые общественнос-

тью, а также Комиссией по литературному наследию Юрия Николаевича Тынянова.

Здесь нет необходимости подробно говорить о месте этой замечательной личности в истории русской литературы, русской филологии и даже кино; заслуги эти огромны, а оставленное им наследие столь велико в своем содержании, что вот уже на протяжении около сорока лет продолжает привлекать все большее число ученых и исследователей. В вышедшем недавно в Риге «Тыняновском сборнике» * представлена лишь небольшая часть из того, что было сообщено на конференции в мае 1982 года, состоявшейся на родине Тынянова в Резекне. Несомненно, однако, что это лучшая часть как по глубине проникновения в творчество писателя, так и по важности затронутых проблем, так или иначе связанных с его прозой, работами в русской филологии и кино. В этой связи нельзя не отметить прежде всего предпосланное сборнику вступительное слово В. А. Каверина, одного из немногих наших современников, наиболее близко стоявших к Тынянову, знавшего его с юных лет, дружившего с ним до самой кончины писателя и теперь на протяжении длительного времени возглавляющего Комиссию по литературному наследию этого писателя. Автор в сжатой форме точно и емко формулирует смысл непреходящего значения Ю. Н. Тынянова как прозаика, автора широко известных исторических романов, ученого-исследователя, практика и теоретика советского кино на раннем этапе его развития. Уникальность единения в одном лице большого ученого и большого писателя, пишет В. Каверин, в своем взаимодействии привела к замечательным итогам — созданию прекрасных книг прозы и научных произведений. Серьезное занятие филологией не мешало, а помогало Тынянову создать углубленные образы героев его исторических романов, обогащало его стиль; в то же время опыт Тынянова-прозаика побуждал его на новые исследования с рядом замечательных выводов и открытий. З. Н. Поляк, говоря о документальных источниках романа «Смерть Вазир Мухтара», прослеживает огромную работу ав-

* Тыняновский сборник. Рига, «Зинатне», 1984.

тора с эпистолярным наследием А. С. Грибоедова и его современников. Метод «скрытого» цитирования первоисточников как основы документальности, то есть достоверности и историчности, широко использованный Тыняновым, позволил ему достичь замечательных результатов в области художественной прозы.

Во многих отношениях интересно малоизвестными в литературоведении фактами сообщение Ю. М. Лотман и Ю. Г. Цивьян «SVD: жанр мелодрамы и история», где на замечательном кино- и литературном материале анализируется опыт Тынянова-сценариста, создателя сценариев фильмов «Шинель», «Поручик Киже» и особенно «SVD», написанного им совместно с Ю. Г. Оксманом. Этот сценарий любопытен для нас смелым вторжением мелодраматического вымысла в конкретный исторический материал, сочетанием разнородных жанровых стилей и заимствований, свойственных кинематографу периода его становления, и той ролью, которую сыграло в нем творчество Тынянова как председателя ОПОЯЗа.

Личность выдающегося ученого или художника всегда является притягательным объектом как для широкого круга читателей, так и для ученых-исследователей. Современники Тынянова оставили нам немало проникновенных воспоминаний о нем, число этих воспоминаний растет. М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес останавливаются в своем разборе на «Мемуарных заметках» крупного ученого, историка русской литературы, профессора Ю. Г. Оксмана, чье общение и совместная работа с Тыняновым продолжалась более двадцати лет. Как показывают авторы разбора, свидетельства Ю. Г. Оксмана ценны еще и тем, что жизненный и литературный опыт мемуариста во многих отношениях был сходен с опытом самого Тынянова.

В этих коротких заметках нет возможности подробно анализировать все материалы сборника, несомненно того заслуживающие. И все-таки хотелось бы упомянуть содержательные статьи и сообщения В. В. Пугачева, М. Л. Гаспарова, Л. Д. Гудкова и Б. В. Дубина, В. И. Новикова. Как указывается в предисловии, авторы этих работ «стремятся показать историко-культурный подтекст, вовлечь в рассмотре-

ние наследие не одного деятеля, но и его современников».

В общем это справедливо. Достоинство сборника, несомненно, повышается расширительным пониманием значения Ю. Н. Тынянова в истории русской литературы, где, по выражению В. Б. Шкловского, «взаимодействуют не отдельные элементы, а системы, и системы эти не пропадают бесследно, а вступают во взаимодействие».

Остается пожелать только, чтобы столь важное и благородное дело, как издание «Тыняновских сборников», равно как и проведение Тыняновских чтений, происходило регулярно и на столь же высоком нравственном и научном уровне, как это делалось до сих пор.

1985 г.

ВЕЛИКАЯ АКАДЕМИЯ — ЖИЗНЬ

Диалог: В. Быков — Л. Лазарев

Л. Л.: Расскажите, пожалуйста, о вашей «дописательской» биографии. Это не праздное любопытство: многое в творчестве писателя определяется уже тем, что заставило его в свое время взяться за перо, как и в связи с чем в нем пробудился художник. Какую роль в этом сыграло ваше пребывание на фронте? Ведь для людей нашего поколения (мы ровесники, у нас общая военная судьба) война была и осталась главным жизненным испытанием, многое в нас сформировала именно она. Борис Слуцкий очень точно заметил, что наше поколение война пересоздала «по своему образу и подобию». Чем стали эти годы войны для вас, что значили для вашей писательской судьбы?

В. Б.: Родился и вырос я в Белоруссии, в предвоенные годы учился в Витебском художественном училище, занимался скульптурой, изобразительным искусством и не помышлял о писательстве. Но вот грянула Великая Отечественная война, которая захватила меня летом 1941 года на Украине и позже привела в Саратовское пехотное училище. После его окончания в

должности командира стрелкового взвода, взвода автоматчиков и взвода противотанковой артиллерии (калибра 45, 57 и 76 мм) воевал до конца войны.

Как видите, сложилось так, что период юности и возмужания нашего поколения совпал с годами войны, и первой наукой жизни, которую мы постигли в юности, была труднейшая наука войны со всей сложностью ее проблем и человеческих отношений.

Во время войны, как никогда ни до, ни после ее, обнаружилась важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев. Не нужно много говорить о том, какую роль тогда играли и героизм и патриотизм. Но разве только они определяли социальную значимость личности, поставленной нередко в обстоятельства выбора между жизнью и смертью? Как известно, это очень нелегкий выбор, в нем раскрывается вся социально-психологическая и нравственно-этическая суть личности.

Мне думается, что было бы неразумно и нерасчетливо пренебрегать этим, миллионами вынесенным из войны опытом, к тому же оплаченным столь дорогой ценой. И меня интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и технология боя, хотя все это для искусства тоже важно и интересно, но главным образом нравственный мир человека, возможности его духа.

Л. Л.: Но после фронта и продолжая еще службу в армии, вы писали на другие темы. И так было, кстати, со многими вашими ровесниками, вступавшими в литературу...

В. Б.: Да, так было со многими. Очевидно, это случилось потому, что в годы войны ввиду недостаточной зрелости и незначительности нашего жизненного опыта (в его житейском и биологическом понимании) мы не смогли сразу постичь всю сложность того, что видели и что переживали на фронте. Это пришло позже, и многих из нас заставило, так сказать, задним числом задуматься о давно пережитом и даже забытом, с расстояния десятка лет и высоты накопленного опыта попытаться открыть там нечто такое, что оказалось живым и поучительным для всех.

Очевидно, к таким тугодумам принадлежал и я,

долгое время после войны полагавший, что все сколько-нибудь значительные проблемы войны достаточно разработаны литературой, так много и горячо писавшей во время войны, что гораздо интереснее мало для нас знакомое, но бурно захватившее всех время мира с его новыми радостями и новыми трудностями. Наверное, так полагал не один я, опыт многих моих ровесников, впоследствии зарекомендовавших себя очень значительными авторами военной темы, свидетельствует о том же.

Л. Л.: Ваши ровесники в литературе, писатели военного поколения, с которыми ваше имя постоянно ставят рядом,— Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Александр Адамович, Виктор Астафьев — уже написали книги, в которых рассказывается и о мирном времени. Вы среди них, кажется, единственный, кто после первых опытов целиком посвятил свое творчество темам войны. Что же заставляет вас снова и снова возвращаться к событиям тех дней?

И что, на ваш взгляд,— подойдем и с этой стороны к поставленному вопросу,— еще, так сказать, недоисследовано нашей литературой, создавшей уже прекрасную и обширную библиотеку книг о Великой Отечественной войне?

В. Б.: Многие факторы человеческой сущности вместе с войной ушли в прошлое. Перед обществом и индивидуумом мирное время выдвинуло новые, только ему свойственные проблемы. Так, например, проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти — вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Но в мирное время мы не ходим в разведку, презрение к смерти от нас не требуется и отвага нам необходима лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако то, что в войну стояло за героизмом, питало его, было его почвой,— разве это утратило свою силу? Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, самоотверженность,— это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы

войны питало героизм. А воспитание коммунистической нравственности — первоочередная задача литературы. Множество примеров из жизни, свидетельства прессы, наши повседневные наблюдения настойчиво говорят о злободневной неотложности этой задачи. Рост материальной обеспеченности общества, повышение роли науки и техники не приводят автоматически к более высокой нравственности, к духовному богатству. Напротив, все это нередко отходит на второй план, скудеет. Мы знаем о пагубной власти материального в западном потребительском обществе с его стандартной ширпотребовской культурой. Мы видели на примере Германии, к чему может привести передовая техника, не контролируемая нравственностью, не обеспеченная духовностью.

Литература должна не переставая бить в свои колокола, настойчиво пробуждая в людях потребность в высокой духовности, без которой любой самый высокий прогресс материальной культуры будет не в радость.

Л. Л.: Говоря как-то о повести «Сотников», вы заметили: «А разве это повесть о партизанской войне?» (Я бы, правда, сказал не столь категорично: эта повесть не только о партизанской войне.) Но, судя по сказанному, вы сознательно ищете современную проблематику, обращаясь к действительности военной поры. Вопрос в том: современная ли — в прямом и точном смысле слова — эта проблематика? Ведь каждое время — вы тоже помянули об этом — все-таки рождает свои собственные проблемы. А модернизация или архаизация их может увести от правды. Или это проблематика, на самом деле лишь «рифмующаяся» с теми вопросами, над которыми мы сейчас бьемся, помогающая найти ключ к решению? И еще одно: не здесь ли один из источников тех споров, которые нередко возникали в критике вокруг ваших произведений, когда их современный пафос истолковывался или чересчур узко, или чересчур расширительно?

В. Б.: Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма длилась четыре года, но ее духовно-физический «концентрат» составляет целую эпоху в нашей истории. В течение этих четырех

лет так или иначе нашли свое отражение многие века нашей истории, нашей политики, все составляющие психологии, морали и нравственности нашего народа. Нельзя также полагать, что День Победы 9 мая 1945 года явился переломным днем нашего существования, что как только затихли раскаты орудий, жизнь в мгновение ока изменила характер и стала безмятежной и благостной. На самом деле жизнь из одного качества в другое эволюционировала медленно и малозаметно. Многое из того, что мы открыли для себя в годину тяжелейших испытаний, с нами и поныне, многие наши духовные, нравственные и организационные приобретения так или иначе оказывали или оказывают свое влияние на последующую жизнь общества. Поэтому существует ли надобность для литератора подгонять правду нашего существования под правду войны или реконструировать действительность? Не плодотворнее ли поискать общий знаменатель, философский корень того, что имело место в войне и не утратило своего нравственного или иного значения и теперь? Конечно, метод охоты снайперов за вражескими солдатами вряд ли способен всерьез заинтересовать кого-либо нынче, снайперы не самая актуальная специальность для общества мирного времени; отошли в прошлое многие другие качества, некогда важные для войны, и с ними носители этих качеств. Но вот любители подставить ближнего под удар судьбы или начальства, чтобы самому укрыться за его спиной, не перевелись и поныне. Правда, в годы войны это было заметнее и более впечатляюще по результатам, теперь нередко такие вещи выглядят менее драматически, но при всем том природа их остается единой. Природа предательства во всех видах отталкивающа и предосудительна, какими бы мотивами это предательство ни руководствовалось и какие бы благие цели ни преследовало.

В этой связи будет нелишне, я думаю, вспомнить о некоторых спорах вокруг одного из персонажей моей повести «Сотников». Я имею в виду Рыбака. Мне думается, что причина падения Рыбака в его душевной всеядности, несформированности его нравственности. Он примитивный прагматик, совершенно не соотнося-

щий цели со средствами. Война для него — простое до примитива дело, с исчерпывающей полнотой выраженное постулатом: «чья сила, того и право» и еще: «своя рубашка ближе к телу». Он не враг по убеждениям и не подлец по натуре, но он хочет жить вопреки возможностям, в трудную минуту игнорируя интересы ближнего, заботясь лишь о себе. Нравственная глухота не позволяет ему понять глубину его падения. Только в конце он с непоправимым опозданием обнаруживает, что в иных случаях выжить не лучше, чем умереть. Но чтобы постигнуть это, ему пришлось пройти через целый ряд малых и больших предательств, соглашательств, уступок коварному и хитрому врагу, каким был немецкий фашизм. В итоге духовная гибель, которая оказывается горше и позорнее физической гибели.

Конечно, современный читатель не стоит перед таким выбором, но судьба Рыбака, может быть, заставит его задуматься над тем, как опасны сделки с собственной совестью и к чему они могут привести человека...

Л. Л.: В отличие от литературных ровесников вас не занимала тема поколения юношей 41-го года, которой они в своем творчестве отдали немалую дань. Не потому ли, что они начали свой литературный путь раньше, чем вы, и успели об этом довольно много написать? Не потому ли вы с самого начала пошли по пути несколько иному?

В. Б.: Вероятно, и поэтому. Действительно, они довольно подробно написали о судьбе — военной и послевоенной — юношей 41-го года до того, как я начал писать вообще. Но тут есть и еще одна причина. Они, вернувшись сразу после окончания войны к мирной жизни, в институты и университеты, были теснее связаны со своими ровесниками, чем я, продолжавший и после войны немалое время служить в армии на окраинах, в далеких гарнизонах. Многие проблемы, которые были насущны и очень важны для них, для меня находились за пределами моего личного жизненного опыта.

Л. Л.: Однажды вы заметили, что немалую роль в рождении книг о солдатах пехоты, которая «в прошлой войне являлась не только царицей полей, но и

пролетариатом всех битв, выигранных ею большой кровью», играет «чувство долга живущих непехотинцев, вдоволь насмотревшихся на кровь, муки и пот пехоты». В другой раз вы писали: «Да, это он, рядовой великой битвы, ничем не выдающийся бывший колхозник или рабочий, сибиряк или рязанец, долгие месяцы мерз под Демянском, перекопал сотни километров земли под Курском и не только разил огнем немцев, но и крутил баранку на разбитых фронтовых дорогах, прокладывал и держал связь, строил дороги, наводил переправы. Он многое пережил, этот боец, голодал, изнывал от жары, побаивался смерти, но добросовестно делал свое незаметное солдатское дело. И, пройдя через все испытания, он не утратил своей человечности, познал и накрепко усвоил в великом коллективе изначальную правду жизни и многое другое». Опираясь на эти ваши высказывания, можно, мне кажется, определить не только среду, в которой вы ищете героев (в новой повести «Волчья стая» она, скажем, дала образы Левчука и Грибоеда), но и нечто более важное — круг проблем, характерных именно и только для войны **всенародной,** какой была война против гитлеровских захватчиков. Имеют ли эти сказанные вами слова действительно «программный» характер?

В. Б.: Наша великая война, как известно, изобилует всевозможными подвигами, сотни тысяч людей всех поколений, воинских званий и родов войск совершили на ней чудеса храбрости и воинского умения. Но лично я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались ли когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920—1925 годов рождения? Это — пехота. Она густо устлала своими телами все наши пути к победе, сама оставаясь самой малозаметной и мало-

эффективной силой, во всяком разе, ни в какое сравнение не идущей с таранной мощью танковых соединений, с огневой силой бога войны — артиллерии, с блеском и красотой авиации. И написано о ней меньше всего. Почему? Да все потому же, что тех, кто прошел в ней от Москвы до Берлина, осталось очень немного, продолжительность жизни пехотинца в стрелковом полку исчислялась немногими месяцами. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера-пехотинца, который бы мог сказать ныне, что он прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо.

Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота. Время показывает, что уже вряд ли придет оттуда в нашу литературу ее гениальный апостол, зато нам, живущим и, может, еще что-то могущим, надо искать там. Пехота прошлой войны — это народ со всей его многотрудной бранной судьбой, там надобно искать все.

Л. Л.: Ваши последние произведения посвящены партизанам. Но вы партизаном не были, воевали в регулярной армии. И все-таки я хочу задать вам вопрос, имея в виду и ваши партизанские повести: в какой мере ваши личные впечатления, ваш военный опыт входят в ваши произведения? Могли бы вы писать о войне, в том числе и партизанской, если бы вы не были на фронте? И с другой стороны, когда вы начали писать о партизанах, потребовал ли этот, новый для вас, материал каких-то дополнительных усилий для овладения им? Как вообще вы собираете материал? Конечно, это сложный процесс. Но если его до известной степени упростить и логизировать, то какое место занимают беседы с участниками войны, изучение архивов, чтение мемуаров, военно-исторических работ и т. д.? Целеустремленны ли ваши поиски материала или он накапливается сам собой?

В. Б.: Хотя я пишу о войне довольно давно, темой партизанской войны занялся лишь в последнее время, после того, как обнаружил, что она таит в себе возможности, которые далеко не всегда предоставляет фронтовая действительность с высокой степенью ее ор-

ганизованности и регламентированностью всего ее быта и деятельности. Партизанская же война в значительной мере (особенно на ее раннем этапе) — процесс действия масс, стихийности ее человеческого материала, нравственного и психологического разнообразия, что всегда предпочтительнее для литературы. Извечная тема «выбора» в партизанской войне и на оккупированной территории стояла острее и решалась разнообразнее, мотивированность человеческих поступков была усложненнее, судьбы людей богаче, зачастую трагичнее, чем в любом из самых различных армейских организмов. И вообще элемент трагического, всегда являющийся существенным элементом войны, проявился здесь во всю свою страшную силу. Можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что для полнокровного изображения в литературе трагедии оккупированных территорий слишком бледны употребляемые для обычного бытописания краски. Здесь нужны совершенно другие средства и страсти масштаба шекспировских. Я всегда с большой робостью берусь за этот материал и, может быть, вовсе не взялся бы, если бы не мысль о быстротекущем времени, с каждым годом все меньше оставляющем нам свидетелей и свидетельств той невообразимой по человеческим переживаниям эпохи. При этом, разумеется, было бы немыслимо сколько-нибудь успешно справиться с ним, не обладая опытом войны, ведь главная идейная основа здесь та же, что и в действующей армии, психологические, нравственные предпосылки многих поступков тождественны. Я не вел целеустремленных поисков материала, не занимался сбором его. Там, где я живу, в этом еще нет надобности, здесь еще очень многое напоминает о прошедших годах войны.

Л. Л.: Накопленные художниками впечатления бытия по-разному ими реализуются, в чем и сказывается писательская индивидуальность каждого автора. Так вот, были ли у каких-то из ваших героев прототипы, или близость создаваемого характера к реальному лицу вас связывает? То же самое я хочу спросить о сюжетных ситуациях: опираетесь ли вы на реальные события, подлинные случаи, имевшие место в действи-

тельности, или ваше знание жизни позволяет вам создавать вымышленные, но правдивые ситуации?

В. Б.: У меня тут нет никакой определенной системы. Каждый раз бывает по-разному. У некоторых из созданных мной образов есть прототипы. Хотя и в данном случае прямого «списывания» нет, происходит обычная литературная трансформация. Мне уже приходилось как-то писать об этом, приводя в качестве примера два образа из повести «Третья ракета». Самый достоверный, «списанный» образ там — командир орудия старший сержант Желтых. Многие черты его внешности и его характера я действительно списал с командира орудия моего взвода, с которым воевал в Венгрии, находясь в 10-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде. Его настоящая фамилия Лукьянченко. Следовательно, он не командир сорокапятки и не погиб на плацдарме в Румынии, но благополучно довоевал войну и в сорок пятом демобилизовался из армии. Но в остальном он тот же: по-хозяйски расчетливый, неторопливый, не шибко грамотный — настоящий хлебороб-колхозник, сменивший в силу войны плуг на орудие. Он был одним из лучших командиров орудий в нашем противотанковом полку.

Другой образ из той же повести, рядовой Кривенок, тоже во многом списан с реального лица, только лицо это имело к моей биографии несколько иное отношение и в другое время. Как-то был у меня во взводе один взбалмошный боец, он причинил много неприятностей командирам и плохо кончил по своей, между прочим, вине. Кривенок в повести не такой, но во многом похож на того, другого бойца.

Я уже писал также о родословной Рыбака из «Сотникова», прообразом которого послужил человек, кроме одинаковой судьбы, не имевший более ничего общего с его литературным персонажем. Но именно общность судьбы и сделала его прототипом, и теперь я не могу их разделить — один вызвал к жизни другого. Что это — прототип, менее того или больше — я не думал, да и есть ли надобность разбираться в этом?

Но даже и в тех случаях, когда сам автор затрудняется назвать реальный прообраз героя, значит ли

это, что таковой вовсе отсутствует? Забытые или полузабытые жизненные впечатления, образы, характеры людей и даже личные настроения давних лет, запечатлевшись глубоко в подсознании, могут однажды воскреснуть и предстать перед автором как увиденное или почувствованное им впервые. Особенно если несколько стертых характеров трансформируются в один сборный — яркий и полнокровный, тот, о котором говорят, что он, выдуманный, заключает в себе больше правды, нежели существовавшие на самом деле. Ведь в процессе творчества, как известно, роль подсознательного чрезвычайно важна.

Л. Л.: А сюжетные ситуации?

В. Б.: Точно так же и сюжетные ситуации. С некоторыми из них у меня не было лишних забот — они взяты прямо из моей фронтовой действительности, степень конструирования в них весьма незначительна. Таковы сюжеты «Третьей ракеты», «Атаки с ходу», отчасти «Круглянского моста» и «Волчьей стаи». Фабула каждой из этих повестей была заранее известна, автору пришлось только разработать ее в деталях и населить подходящими образами.

Другие же сюжеты складывались из различных случаев, постепенно соединялись, образуя единое целое. Какие-то стыки домысливались, отыскивались органические связи, видоизменяясь, различные случаи как бы притирались друг к другу. А бывало, что какая-то жизненная история служила лишь завязкой, началом повести, все остальное уже диктовало воображение.

Справедливости ради надо сказать, что невыдуманность первых решительно не имеет преимуществ перед сконструированностью других, составленных из различных кусков, и не гарантирует от неудачи. Во всяком случае, те вещи, сюжеты которых мне пришлось, что называется, выдумать («Западня», «Сотников», «Дожить до рассвета», «Альпийская баллада»), вряд ли уступали в своей жизненной достоверности сюжетам непридуманным. Видимо, многое здесь решается всем идейно-образно-сюжетным комплексом, различным в каждом отдельном случае и окончательно определяющим литературное достоинство вещи.

Л. Л.: А как у вас возникает замысел, что служит первотолчком — пришедшая в голову мысль, проблема, которую вы хотите поставить или исследовать, какие-то впечатления и воспоминания или чей-то рассказ о пережитом и т. д.? Или в разных случаях бывает по-разному? Если это воспоминание или чей-то рассказ, то вас привлекает «просвечивающая» в нем проблема или к ней вас приводит логика воссоздаваемых событий и раскрывающихся характеров?

В. Б.: Взаимодействие частей в схеме: замысел — материал — воплощение, пожалуй, самое трудное для постижения и, пожалуй, наименее осмысленная область психологии литературного творчества. Ясно, что постоянно бодрствующая авторская мысль, несущая в себе нравственно-философскую идею, лишь тогда в состоянии литературно произрасти, когда она попадает в благоприятную почву жизненного материала. Необходим подходящий синтез идеи, жизненно достоверной ситуации и соответствующих человеческих образов, способных в данных обстоятельствах выразить данную идею. Что в моем сознании появляется прежде и что после, по-моему, не суть важно. Может появление точно подмеченных характеров, поставленных в соответствующие ситуации, привести к выражению той или иной идеи, а может и идея для своей литературной реализации вызвать к жизни свои адвокаты-образы. В «Третьей ракете» я не навязывал моим персонажам никакой литературной идеи, они жили, страдали, воевали каждый в силу своего характера и сложившихся обстоятельств. В итоге их самопроявления обнаружилась и читается какая-то идея, наверно, более сложной идеи и не надобно для этой маленькой повести. Что же касается «Сотникова», то здесь все было подчинено заранее определенной идее, хотя это вовсе не означало диктат автора над характерами и обстоятельствами — просто автор достаточно хорошо знал своих героев и по возможности точнее рассчитал логику их поступков. К тому же для выражения данной идеи я старался выбрать из запасников своей памяти наиболее подходящие персонажи.

Л. Л.: Я хочу напомнить то, что сказано в одной вашей статье: «В «Сотникове»,— писали вы,— я с са-

мого начала знал, чего хочу в конце, и последовательно вел своих героев к сцене казни, где один помогает вешать другого». А как было в других случаях, в других повестях: знали ли вы, к чему должны прийти в конце? Не случалось ли вам испытывать сопротивление родившегося под пером характера? Мне, например, кажется, что в «Альпийской балладе» и «Дожить до рассвета» вас кое-где ведет не логика характеров и обстоятельств, а опережающая их мысль. Мысль, которую вы хотите выразить, становится хозяйкой положения. Что вы думаете на этот счет?

В. Б.: Я думаю, что если характер схвачен точно, если он поставлен в подходящие для его раскрытия обстоятельства, если авторское отношение к нему верно,— никаких особых сюрпризов быть не должно.

Я уже говорил о «Сотникове». Что касается, например, «Дожить до рассвета» и образа главного героя этой повести, лейтенанта Ивановского, то меня здесь прежде всего интересовала мера человеческой ответственности. Как известно, на войне выполняются приказы старших начальников. И ответственность за удачу или неудачу той или другой операции делится пополам между ее исполнителем и руководителем. А здесь случай, когда инициатором операции выступает сам исполнитель — младший офицер, но все дело в том, что эта его инициатива заканчивается полным фиаско. Конечно, Ивановский тут ни при чем, можно оправдать его, ведь он честно исполнил свой долг. Но сам Ивановский оправдать себя не может: ведь операция потребовала невероятных усилий, за нее заплачено жизнью людей, его подчиненных. В гибели Ивановского не виноват никто: он сам выбрал для себя такой удел, потому что обладал высокой человеческой нравственностью, не позволявшей ему схитрить или слукавить ни в большом, ни в малом...

Л. Л.: Мне кажется, что многое в этой повести определяется и временем действия: начало зимы сорок первого года, враг все ближе подходит к Москве. Без понимания этого трудно постичь логику поведения героя. В эту пору каждый честный человек был готов на все, чтобы спасти Родину, и отдать свою жизнь за то, чтобы уничтожить хотя бы одного вражеского сол-

дата,— это не казалось чрезмерной ценой. И трагический финал повести, как мне представляется, подводит читателя к этой мысли.

В. Б.: Да, время, изображенное в повести,— самая трагическая пора Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, многие воины тогда еще не имели того опыта, того умения воевать, которые пришли позже. Но тем не менее патриотизм, самоотверженность, сила духа и воля к сопротивлению были очень высоки, благодаря им мы выстояли. В тех условиях, когда нам недоставало воинского мастерства и военной техники, люди, подобные лейтенанту Ивановскому, пытались это компенсировать самоотверженностью, готовностью пожертвовать собой, любой ценой остановить врага. Позже воля к победе и самоотверженность, подкрепленные воинским умением и преимуществом в боевой технике, приводили к результатам более значительным, чем у лейтенанта Ивановского...

Впрочем, дело, как мне кажется, вовсе не в боевом результате той или иной операции или действия, для литературы о войне одинаково важны как удачи, так и поражения, большие и малые. К тому же, что такое победа, а что поражение с точки зрения нравственной или философской, которые больше всего другого интересуют в искусстве? Ивановский, разумеется, был побежден и погиб на своем маленьком поле боя, но если он из тех людей, о которых сказано, что их можно убить, но нельзя победить, то его поражение явственно превращается в иное, противоположное качество. Именно на стыке этих взаимоисключающих понятий и таятся значительные возможности литературы, нередко, к сожалению, игнорируемые нами, привыкшими к предельной ясности, с которой соседствует упрощенчество.

Л. Л.: Почти все, что вы написали, принадлежит к одному жанру — короткой повести: поначалу она напоминала своей структурой повесть лирическую, и критики еще долго ее числили по этому «разряду», даже тогда, когда основное ее содержание определилось как нравственно-философское. Когда вы приступаете к работе над новой вещью, «задана» ли ее жанровая структура с самого начала или это складывает-

ся само собой? Совсем недавно один критик написал, что вам уже «тесно» в том жанре, в котором вы работаете много лет, что вы, он в этом убежден, должны перейти к более крупной форме — роману. Совпадает ли это с вашими ощущениями и намерениями?

В. Б.: Мне трудно сказать, как будет дальше. Может быть, когда-нибудь я и напишу роман. Но пока у меня нет подобного намерения.

Так получилось, что с самого начала я писал преимущественно повести. Когда-то эти повести действительно были лирическими. Потом, очевидно, по мере того, как их автор обретал литературный опыт, характер их изменился. Принимаясь за новую вещь, я не определяю ее размер или структуру, хотя, конечно, и предполагаю, какой примерно получится эта вещь, и знаю наверняка, что это будет повесть. Но в процессе работы она становится или короче, или длиннее, чем мне представлялось вначале. Иногда какие-то звенья сюжета, какие-то эпизоды сокращаются, другие, наоборот, развиваются подробнее. А в общем, я не ощущаю тесноты в этом обжитом мною жанре. Я думаю, что это очень емкая форма прозы и в ней можно выразить очень многое, а главное — без утомительных излишеств.

Л. Л.: Часто говорят и пишут, что ваши повести — во всяком случае, последние — повторяют художественную структуру притчи, хотя оценивается это свойство по-разному — и как достоинство, и как недостаток. Мне это определение не кажется верным: притча предполагает отрешение от конкретности — бытовой, психологической и прежде всего исторической. Но этого никак не скажешь о ваших повестях. Повод же для такого рода суждений, мне кажется, в том, что ваши повести отличаются крайней заостренностью и трагизмом ситуаций, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью представлений о том, что хорошо и что дурно, которые и определяют оценки человеческого поведения. Не потому ли с таким постоянством вы оставляете героев один на один со своей совестью, повинуясь которой они сами должны решить свою судьбу в обстоятельствах, где за верность долгу платят жизнью?

В. Б.: Действительно, некоторым из моих критиков хотелось бы объяснить какие-то особенности моего творчества придуманной на ходу приверженностью автора к жанру притчи. Думаю, что это не так. Кажущееся притчеобразие некоторых из моих повестей проистекает, по моему мнению, не от авторского насилия над жизненным материалом в угоду заранее принятой идее, не из стремления решить некую абстрактную моральную задачу, а от лаконизма повествования и сжатости действия, может быть, от некоторой беллетристической обедненности сюжета и стиля. Очевидно, иногда дает себя знать примат идеи над формой, когда идея не всюду находит свое органическое воплощение в форме. Наверное, все это присуще некоторым из моих повестей, но я не стремлюсь к этому, более того, я этого избегаю. Другое дело, как вы сказали, нравственный максимализм, без которого я не могу обойтись, потому что всеми средствами привык затягивать нравственные узлы, отчего порой слишком выпирает жесткость сюжетных конструкций. В то же время можно понять тех, кому хотелось бы мягкости тонов, обстоятельности переходов. Но что делать? Война плохо согласуется с этой человеческой склонностью. Война — дело слишком серьезное, чтобы на ее материале конструировать воскресное чтение для досужих читателей. Кроме того, я убежден, что наиболее правдиво поведать о ней можно только средствами реализма. Всякая нарочитая романтизация, вольная или невольная эстетизация этого народного бедствия, на мой взгляд, является кощунством по отношению к ее живущим участникам и по отношению к памяти двадцати миллионов павших. Это надлежит крепко помнить художнику, обращающемуся к суровым годам войны,— в этом своеобразный категорический императив искусства нашего времени.

Л. Л.: Какие свои книги вы любите больше всего и что вам в них дорого? Только не уходите от этого вопроса, заявив, что самая любимая, самая лучшая еще не написана. О будущих книгах, я надеюсь, мы еще поговорим. Знать же, что писатель из созданного им ценит больше всего,— это поможет понять суть его художественных исканий... И еще один вопрос. Не воз-

никало ли у вас по прошествии определенного времени желания вернуться, дописать, переписать когда-то написанные вещи?

В. Б.: Первый вопрос действительно весьма затруднителен, потому что у писателя несколько оценочных критериев своих произведений. У читателя, в общем, один критерий: понравилось или не понравилось, или это произведение понравилось больше, а это меньше, даже когда он пытается уяснить для себя, почему понравилось и почему не понравилось. Автора же связывает с каждым созданным им произведением очень многое: не только то, что он выразил в нем, но и то, скажем, что хотел выразить и как ему это удавалось. Потом одна вещь пишется легче, а над другой приходится работать порой весьма мучительно. Если говорить конкретно, то более других мне дорога повесть «Сотников», которая и писалась довольно легко, и жизненного содержания в ней, может быть, несколько больше, чем в других вещах.

Что касается второго вопроса, то уж так повелось, что я не возвращаюсь к вещам, ставшим достоянием читателя, для этого у меня нет ни сил, ни желания. Хотя почти всегда в опубликованной вещи обнаруживаю какие-то недоделки, недостатки, огорчаюсь, ругаю себя за недосмотр, но не могу заставить себя взяться за нее вновь. Берусь за следующую.

Л. Л.: Корабль спущен на воду?

В. Б.: И отчалил от берега, он принадлежит уже не строителям, а экипажу.

Л. Л.: Есть ли у вас среди классиков любимые писатели? В критике, когда стараются определить традиции, с которыми связывают ваше творчество, чаще всего называют имена Достоевского и Кузьмы Черного. А как считаете вы сами? Есть ли сознательность, намеренность в выборе писателем традиций? И что такое «учеба у классиков», о которой мы так часто толкуем,— использование их опыта или стремление к той глубине проникновения в душу человека, которой они достигли?

В. Б.: Я думаю, что понятие «учеба у классиков» зачастую у нас упрощается. Учиться у классиков —

это не значит перенимать их технологию творчества, осваивать их приемы. Это нечто гораздо более широкое и значительное: уважение к правде, проповедь гуманизма, понимание общественного долга литературы и писателя,— все то, в чем действительно состоит сила и значение классиков.

Мои литературные симпатии не оригинальны и, быть может, покажутся старомодными. Как и миллионы читателей, я считаю самым высоким в нашей литературе Льва Толстого, рядом с которым действительно поставить некого. Своим пророческим предвидением, пониманием подспудного, затаенного в человеческой душе всегда будет велик Достоевский, с творчеством которого созвучно многое в произведениях классика белорусской литературы Кузьмы Черного. Великая русская литература была и остается той главной школой духовности, которую должен пройти каждый, прежде чем отважиться добавить в ней какую-то свою строчку...

Кроме того, я хотел бы сказать, что в моей писательской судьбе немалую роль сыграло то обстоятельство, что я писал в одно время и при полном взаимопонимании с моими русскими сверстниками, авторами талантливых книг о войне, среди которых в первую очередь хочется назвать Юрия Бондарева и Григория Бакланова. Я многим обязан также Александру Адамовичу, великолепному белорусскому прозаику и самому проницательному из моих критиков.

Л. Л.: Ну, раз вы помянули, что Александр Адамович не только прозаик, но и критик, перейдем к этому вопросу. Поговорим о критике. Вы как будто не можете пожаловаться на ее невнимание: ваши книги рецензировали много и охотно. Хотя вам приходилось сталкиваться не только с проницательными и взыскательными суждениями критиков, но и с непониманием, даже с недоброжелательством. Интересуетесь ли вы критикой вообще и суждениями критиков о вашем творчестве? Находят ли они у вас внутренний отклик — это необязательно согласие и принятие, может быть и отталкивание? Вам порой — пусть не очень часто — тоже приходится выступать в роли критика, делаете ли вы это с охотой или в силу долга?

В. Б.: Я отдаю себе отчет, что критика, как и критики (впрочем, как и писатели), бывают разными. Правда, критики в моем сознании не делятся на тех, которые меня хвалят и которые меня ругают. Дело не в том, чтобы тебя похвалили. Приятно, конечно, когда написанное произведение находит у критика такое же понимание, как у автора, когда критик не выискивает в нем то, что с удовольствием потом осудит...

Л. Л.: Когда он понимает внутренние законы, по которым создавалось произведение, его пафос...

В. Б.: Совершенно верно. Но в то же время бывает так, что иной критик по разным причинам не приемлет данной манеры автора и заранее настроен неприязненно. Именно эта его настроенность выдает себя с самого начала, нередко с заголовка, и я уже знаю все, что последует дальше. Больше того, еще в процессе работы над повестью я уже предвижу, что скажет определенного толка критик, предвижу весь несложный ход его мотивировок и рассуждений. Читать его рецензию бессмысленно, потому что автор и рецензент как бы на разных берегах реки и каждый видит нечто обратное тому, что видит его оппонент. Про такого критика исчерпывающе гласит пословица: ему про Фому, а он про Ерему. Случается и так, что критик ругает автора вовсе не за то, что действительно задевает критика, старательно им замалчивается, и он отыгрывается на мелочах и положениях, которые при желании можно истолковать различно.

Приятно читать рецензию, пусть самую строгую, где критик стремится взглянуть на проблему твоими глазами и судит тебя с твоей же позиции. При этом давно замечено, что совершенно так же, как первый критик стремится подхватить любой действительный промах автора, чтобы использовать его против последнего, так же второй критик охотно готов переоценить малейшую удачу писателя, но и тот и другой оставляют истину за рамками своих рассуждений. Впрочем, оно и понятно. Отстаивая или отрицая позицию автора, каждый из критиков оружием собственной аргументации прежде всего обосновывает собственную позицию, к которой произведение автора порой имеет весьма отдаленное отношение, являясь лишь пово-

дом для критического самовыражения. Что тоже понятно.

Л. Л.: У меня возникло такое ощущение, что в следующих после «Сотникова» повестях, особенно в «Обелиске», есть внутренняя полемика, хотя и не прямая, не специальная, с тем, что писали некоторые критики после появления «Сотникова»...

В. Б.: Возможно, хотя такой задачи — учитывать замечания критиков или полемизировать с ними на страницах своих произведений — я перед собой не ставил. Я уж не говорю о том, что, когда завязывались споры вокруг какой-то из моих повестей, следующая была уже в работе... Может быть, здесь дело в том, что иногда к проблемам, которых я только коснулся в какой-то повести (они были для меня боковыми), я возвращаюсь позже, чтобы заняться ими основательно...

В каждой отдельной вещи не может быть полной картины войны, всех выдвинутых временем проблем. В маленькой повести может быть лишь один какой-то эпизод, какой-то момент, одна маленькая грань того времени. Как можно требовать всей полноты картины войны от одного автора, когда вся наша литература до сих пор еще не может охватить всю огромную полноту Великой Отечественной войны?.. И поскольку я тоже не считаю эту тему исчерпанной ни моим творчеством, ни литературой в целом, в каждой своей новой вещи стараюсь обнаружить то, что было упущено или не нашло места в предыдущей, и это, вероятно, тоже может создавать впечатление, что я в своем творчестве полемизирую с критиками...

Л. Л.: Я хочу напомнить о втором моем вопросе: как вы сами себя чувствуете в роли критика?

В. Б.: Не слишком уверенно. В литературе я привык мыслить образами, здесь же другая форма мышления, которой нужны несколько другие навыки. Одно дело получить впечатление от определенного произведения, и совсем другое — обосновать это впечатление, перевести его в логический ряд силлогизмов. Но тем не менее иногда возникает потребность высказаться в печати по поводу того или иного произведения, особенно в тех случаях, когда какое-то произведение, как

мне кажется, не оценено должным образом или оценено необъективно.

Л. Л.: Не случалось ли вам откладывать начатую вещь, если она почему-то не давалась? Возвращаетесь ли вы снова к ней? Есть ли у вас «задел» замыслов? Знаете ли вы, заканчивая одну вещь, какую будете писать следующую? Нужны ли вам паузы между двумя книгами?

В. Б.: Многие мои коллеги — я не раз это слышал от них — считают, что паузы между двумя книгами должны быть как можно короче. Когда-то я тоже склонен был так думать, но потом это мое мнение переменилось. Хотя сразу переходить от одной вещи к другой кажется легче, так сказать, помогает инерция письма, однако, как мне теперь думается, это кажущаяся легкость. Ведь работа над книгой — это не только работа над строкой и фразой, а нечто еще более важное и трудное. Поэтому, не выносив должным образом замысла, трудно создать что-нибудь стоящее, а для вынашивания надобны время и мысли. Надобно вещь спроектировать. Ведь проза, как известно, это архитектура, а не искусство декоратора.

Но самое трудное для меня — выбрать среди многих замыслов тот, над которым сейчас надо работать. Не случайно Пушкин придавал такое значение «форме плана». Главная идея произведения, план определяются выбором той или другой темы или идеи. Этот выбор должен быть оптимальным в смысле задач и возможностей, и на него зачастую уходит гораздо больше времени, чем на написание произведения. Замыслов у меня, повторяю, всегда в достатке, но при этом необходимо верно соотнести эти замыслы со своими возможностями. (К понятию «возможности» я отношу не только способности и опыт, но и знание материала, владение им.) Иногда приступив к работе, выясняешь, что выбранный замысел не по плечу, я с ним не справлюсь. Тогда приходится вещь откладывать. Иногда, после того как она отлежится, возникает новый взгляд на тему, новый к ней подход, новое сюжетное решение. Так случилось, например, с повестью «Дожить до рассвета», начатой мной лет шесть назад, отложенной и дописанной в 1972 году. Некоторые же замыслы так

и оказываются отложенными навсегда. Особенно те, которые опоздали со своим появлением или не были осуществлены в нужное для них время.

Л. Л.: Становится ли с годами, с накопленным опытом, осознание своих возможностей более точным? И всегда ли это благо: может быть, риск, дерзание помогают иной раз сделать и то, что казалось невозможным?

В. Б.: Пожалуй, да. Неопытность, как и незнание, не всегда плохо, иногда, особенно в начале творческого пути, они немало способствуют тому, что автор берется за работу над вещью, за которую никогда бы не взялся, знай он определенно, что это такое. И случается, создает что-то весьма удачное. И кто знает, сколько произведений остались ненаписанными в зрелом возрасте именно в силу осознания их авторами размеров собственных возможностей, а также из нежелания риска. Знание тут предостерегает автора от самонадеянности, но и подрезает немаловажную в любом деле способность к дерзанию. Ведь всем известно, что идти по протоптанной стежке всегда предпочтительно для автора. Но не для литературы, конечно.

Л. Л.: И наконец, последний вопрос: когда вы пишете, думаете ли вы о своем будущем читателе? Или мысли о читателе возникают, когда вещь закончена?

В. Б.: Я плохо себе представляю, что такое читатель вообще. Я знаю читателей — моих знакомых, могу с определенной долей уверенности предвидеть реакцию каждого из них на какой-нибудь мой пассаж. Но читатель вообще?.. Ведь он такой разный, духовно-нравственный диапазон его столь всеобъемлющ, что учесть его интересы или его отношение без ЭВМ я не в состоянии. Если я думаю о чем-либо побочном, когда пишу, так это скорее литература, жизнь, насущные потребности времени, общественная атмосфера, не учитывая характер которых что-либо создать невозможно. Наконец, я всегда считаюсь с возможной реакцией моих знакомых, людей, чьим именем я привык дорожить и в чью объективность глубоко верю.

1975 г.

ПОЛОТНА, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Творчество Михаила Савицкого глубоко драматично в своей основе, любая тема на его полотнах обретает черты заостренной важности, истинности, порой подчеркнутой трагедийности. Начиная с одной из первых своих работ — «Партизаны», он не перестает разрабатывать тему войны, идя по пути эпического истолкования всенародного подвига.

Цикл его картин, посвященный партизанам, выдвинутый на соискание Государственной премии СССР,— самое, пожалуй, значительное явление в белорусской национальной живописи. Всему миру известна его «Партизанская мадонна». Древний сюжет, столетия вдохновлявший художников прошлого, зазвучал на холсте Михаила Савицкого свежо и волнующе. Молодая мать с младенцем на руках, горестное лицо старой женщины, прощальный взгляд уезжающего в бой партизана — все здесь исполнено драматизма, дыхания грозной силы войны. Но с этой безжалостной силой как бы диссонирует задумчиво устремленный вдаль взгляд молодой матери, более всех рискующей в атмосфере опасности и менее всех защищенной от нее. В этом страдальческом взгляде, однако, великая материнская любовь и надежда, которых не в состоянии лишить ее даже такая жестокая сила, какой была минувшая война.

Художественная манера М. Савицкого ярка и своеобразна, ее невозможно смешать ни с какой другой. Композиция и колорит — вот две самые сильные стороны его мастерства; детализация мало интересует художника. «Для меня очень важно писать не как видишь, а как знаешь»,— говорит он. И каждый раз нельзя не поражаться его знанию событий и явлений, ставших объектом его изображения.

Наверно, поэтому в его полотнах так много обобщенно-символического, исполненного в огрубленной, почти плакатной манере, несомненно идущей от желания максимально выделить идею, почти всегда лежащую у Савицкого в глубине образа, за рамкой холста. На холсте лишь ее пластический знак, символ,

выраженный предельно лаконично по форме, но исчерпывающей в своем содержании.

Одна из его лучших работ партизанского цикла имеет емкое и очень конкретное название — «Витебские ворота» и посвящена реально существовавшему в годы войны узкому коридору в немецкой линии фронта, через который продолжительное время осуществлялось сообщение партизанской Белоруссии с Большой землей. Эта огромная картина состоит из ряда параллельных сюжетов, композиционно чрезвычайно насыщенных и напряженных эмоционально. На огненном фоне закатного неба черные ветви деревьев, под ними три человеческих потока; два — туда и один, центральный,— оттуда; в нем белорусские женщины с узлами, раненые, выходящие на спасительную Большую землю. Однажды увидев, невозможно забыть их темные, страдальческие лица, скорбно сжатые губы. Во всей картине — ни одной лишней детали, ни одного необязательного мазка.

Дыхание прошлой войны присутствует у М. Савицкого всюду, независимо от того, что изображено на его холстах. Даже в самых мирных сюжетах она дает себя знать то в трудном изгибе плечей пожилого человека, то в строгом, со скорбью, взгляде немолодой женщины, то в особом, почти священном ее отношении к буханке только что испеченного хлеба. Наверно, это и понятно, если иметь в виду все те небывалые лишения, которые вынес народ за годы войны, огромные жертвы среди населения Белоруссии.

Многие картины М. Савицкого именно о них, простых белорусских крестьянах, рабочих, женщинах, матерях. Вот они остановились зачем-то в центре ржаного поля, пятеро сельских тружеников: пожилой, наверное, немало повидавший на своем веку, но все еще не переставший трудиться на земле крестьянин, его молодой сын или, возможно, односельчанин, девушка в комбинезоне и две женщины в темных платках. Они в деловой сосредоточенности решают судьбы поля, его урожая, возможно, вспомнив в эту минуту о тех, кто тут работал до них, а может, погиб на этой земле, обильно политой человеческим потом и кровью. Картина так и называется «В поле».

М. Савицкий много знает о предмете своего изображения и помнит о нем. Биография народа, собственная биография художника обязывает его бережно хранить в памяти все им пережитое и своим ярким талантом без устали служить памяти тех, кто вместе с ним отстаивал Севастополь, погибал в Бухенвальде и Дахау, кто четырежды пытался бежать на волю и чудом остался жив. Но прежде о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Савицким создано много замечательных полотен на темы войны и мира. Его работы выставлялись в десятках стран света, многие из них отмечены премиями, дипломами и медалями. За десять с небольшим лет, прошедших после окончания института имени Сурикова, художником создано несколько десятков полотен, потребовавших поистине титанического труда. Среди них ряд сложных многометровых композиций, в том числе и монументальная роспись в Музее Великой Отечественной войны в Минске площадью сорок восемь квадратных метров. А совсем недавно москвичи и гости столицы на выставке «На страже Родины» знакомились с новой, не менее прекрасной работой художника, названной им «Поле», картиной, заставляющей говорить о нем как о мастере высокой гражданской ответственности и большого мастерства.

1973 г.

ГЛАВНЫЙ ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ

Говорят, что главным показателем состояния литературы на каждом данном этапе является степень развития жанра романа, что только роману дано поднять на себе самый полный груз времени со всем комплексом его идей, тревог и исканий — его правды. Наверное, это так. Даже в младописьменных литературах роль романа становится все заметнее, не говоря уже о литературах старых и развитых. Действительно, мы имеем замечательные достижения в этой области прежде всего благодаря ряду отличных произведений последних лет Чингиза Айтматова, Юрия Бондарева,

Валентина Распутина, Нодара Думбадзе, Даниила Гранина, Владимира Богомолова, Ивана Чигринова, Юозаса Балтушиса. Очевидно, характер романа, его возможности, его наполненность правдой времени резко изменились с течением лет и выдвинули роман на передний край литературы.

А ведь еще лет 10—15 назад ситуация в этой области была иной, роман не был тем, чем он стал ныне. Помнится, как Александр Твардовский, тогдашний редактор «Нового мира», неоднократно утверждал, что самым оперативным и современным прозаическим жанром является повесть. И действительно, 50—60-е годы были временем расцвета повести. Почему так? Разумеется, на то были свои причины, некоторые из них отошли со своим временем, другие остались. Если говорить о злободневности данного жанра, его оперативности, то, разумеется, следует отдать предпочтение короткой, со сжатым сюжетом, проблемной повести. Точно так же, как в этом отношении повесть уступает очерку, также расцветшему в настоящее время. В самом деле, по остроте познания жизни, быта, экономических, нравственных и иных проблем очерк продемонстрировал свои блестящие возможности, связанные нынче с именами Ивана Васильева, Юрия Черниченко, Анатолия Стреляного и других. Вот уж действительно чьи очерки можно класть на стол Госплана, пусть попотеет. Без преувеличения можно сказать, потеть ему в этом случае придется долго, потому что проблемы, поднимаемые в них, нешутейные и разработаны они, как правило, глубоко и остро. Авторам повестей трудно за ними угнаться. Тем более авторам романов, хотя литература время от времени становится свидетельницей такого рода попыток, когда некоторые из романистов целиком посвящают свое детище какой-либо хозяйственной, экономической или даже технической проблеме. Это так называемый производственный роман. Не знаю, как критики (я здесь выступаю как частное лицо, так сказать, рядовой читатель), но я не могу вспомнить сколько-нибудь значительных удач в этом направлении. Очевидно, в наш сложный, бурно развивающийся век, век НТР многие проблемы и экономические искания устаревают раць-

ше, чем найдут свое воплощение в романах, которые, как известно, не скоро пишутся и еще медленнее издаются. Пресловутая плановая система и на книгоиздательском деле отражается точно так же, как и в других хозяйственных областях: не столько толкает дело вперед, сколько тянет его назад. Но это другой разговор и не о том сейчас речь.

Речь о том, что же все-таки нынче роман, что он может и чем он быть должен?

Мне думается, это мудрые люди придумали в свое время разграничение литературы по жанрам, и хотя нынче, как никогда прежде, жанры эти становятся неопределенными, размытыми, подверженными взаимодиффузии и смешению, все-таки жанровые законы остаются в силе, и безнаказанно преступать их невозможно. Опыт деревенской и военной прозы, опыт наших лучших мастеров литературы красноречиво подтверждает это. То, что свойственно повести, не очень подходяще роману. Роман может то, что не по силам повести. У рассказа одни задачи, а у очерка совсем другие.

Разумеется, я далек от того, чтобы выводить здесь какие-то правила, тем более навязывать их уважаемым романистам. Но мне думается, почему бы нам не осмыслить того же Айтматова, Бондарева или Распутина? Во всех трех последних романах этих авторов при всем различии их — тематическом, философском, стилевом, этическом — в основе авторской концепции лежит человеческая судьба, судьба личности в драматические моменты нашей истории. Неважно, как и какими средствами воплощается это в романе — у Айтматова это почти вся жизнь героя, у Бондарева — два кардинальных момента жизни, так взаимоувязанные между собой, что определяют всю заключенную между ними жизнь. То же у Распутина: на одном случае из жизни — случае, разумеется, очень значительном и важном,— показана человеческая судьба и даже более, как писал Адамович, «всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся во всем мире», уходящей из жизни в историю. Конечно, нужен недюжинный талант, чтобы решиться на задачу такой грандиозности,

драму, связанную с судьбой личности или тем более целого класса, не каждый романист обладает способностями такого масштаба. И в данном случае успех во многом был обеспечен счастливым (технически выражаясь, оптимальным) сочетанием высокой задачи и мощных литературных способностей. Значит, приходится соразмерять эти наши возможности,— что делать? Иначе каждый из нас написал бы по «Войне и миру» за свою жизнь, по крайней мере усидчивостью нас не удивишь, а в благих намерениях никто не усомнится.

Да, теперь уже совершенно очевидно, что не всякая пухлая книжка прозы — роман, так же не всякое стихотворение лесенкой есть поэзия.

Жизнь и смерть — вечная тема искусства, потому очевидно, что человеческая судьба заключена именно между двумя моментами — рождением и смертью. Независимо от того, как человек к ним относится, они определяют его судьбу, его самоценность среди других ему подобных на этой земле. Особенно значительна и самодовлеюща именно смерть, как итог судьбы, ее следствие. Можно бояться или презирать ее, пренебрегать ею или даже жаждать ее, но независимо от наших к ней отношений никому не дано избежать ее, и потому она незримо и постоянно присутствует в человеческом бытии, в значительной степени определяя его содержание. Когда-то в годы войны мы, молодые тогда люди, познавшие жизнь именно в форме жестокой войны, привыкнув к ней, даже не замечали ее постоянно и незримо давящего на сознание пресса, мы сжились с ним и просто не могли себя ощущать иначе. И только 9 мая 1945 года, когда этот пресс вдруг исчез, мы не столько поняли, сколько неожиданно для себя почувствовали, от чего избавились. Прежде всего от неопределенности нашей судьбы. Впервые за годы войны жизнь обрела для нас значение смысла и избавилась от власти случайного. Но ведь многие не дожили до этого дня, не дошли до Победы и — что меня давно поражает — не то, что они погибли, это слишком банально на войне,— а то, что, погибнув, они так и не узнали об окончании этой войны. Погибли в неведении. И до сих пор пребывают

в оном. Никогда не узнают о, может быть, самом важном из всего, что в течение ряда лет занимало на земле умы миллионов людей.

Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское желание счастливых финалов в наших произведениях. Но вот что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз теряюсь, сталкиваясь с выражением подобных желаний. В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же такое литература? И что такое искусство вообще?

Казалось бесспорным, что искусство — это средство познания жизни с целью ее совершенствования. Поэтому лучшие произведения искусства всегда будоражили человеческое сознание, лишали человека самоуспокоенности и довольства собой и своим образом жизни. Мы знаем множество примеров такого рода во все времена — от Сервантеса до Айтматова. Но мы не можем также закрыть глаза и на то обстоятельство, что с некоторых пор искусство все больше становится средством уик-энда, сонливого отдыха или шумного фестивального празднества. Один уважаемый кинорежиссер в недавней дискуссии в «Литгазете» так и написал черным по белому: «Человек идет в кино, чтобы развлечься, значит, задача кино развлечь его, коль оно получило с него 50 копеек за билет». Книги подорожали, полтинником не обойдешься. Тогда что же, стараться развлекать на рубль? Или на трешку и больше, если это роман? Разумеется, я несколько утрирую, но все же не могу отделаться от вопроса: что должна литература? Учить? Вряд ли. В наше время учителей-наставников достает и без литературы. Пробуждать чувства добрые? Но в области чувств мир дожил до ядерного топора, тут не до добрых чувств — не потерять бы рассудок от ненависти. Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики проповедовать истины, которые в другой, незанимательной форме уже не усваиваются обществом? Чем больше размышляешь над этими и схожими с ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все больше склоняешься к единственно разумной возможности реалистического искусства: показать человеку челове-

ка таким, каков он есть, и пусть он решает сам, каким ему быть. Пусть он сам и выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наше время выражается предельно просто: жить или умереть.

Но тут есть один щепетильный вопрос, относящийся именно к этому показу. Говорят, что культура — это память человечества. Это правильно. Все дело, однако, в том, чтó следует помнить,— ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один из ее участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его награждали орденом, и он спустя годы не перестает переживать радостные волнения по этому поводу. Третьему не дает покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком», но теперь это популярное слово в устах не очень разборчивого на слова начальства звучит для него как «молодец» и заставляет каждый раз умиляться. Это я говорю о ветеранах, но то же можно сказать и об авторах военных романов.

Теперь нередко можно услышать от наших читателей, в том числе и ветеранов, суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и веселые моменты, и шутка, и смех». То есть на первый план выходит все то же желание развлечься. Но ведь во все времена жаждущие развлечений шли на торжища, в скоморошный ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозят уравнять торжище с храмом, сделать искусство товаром ширпотреба, средством, стоящим в ряду с продукцией мебельщиков — не более. То, чем оно стало по ту сторону океана, где, по свидетельству Джона Стейнбека, «писатель стоит несколько ниже клоуна и несколько выше дрессированного тюленя». Но вряд ли мы захотим когда-либо сравняться с клоуном или тем более с тюленем. Даже великолепно выдрессированным.

Я думаю также, что хотя мы, допустим, и не гени-

альные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разбираться в ее запутанных эмпириях и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от крестьянских низов, от жизни «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем о их делах и заботах, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо ближе нам по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей, генералов, начальников главков. Почему безграмотный дед на колхозной бахче куда интереснее изъездившего мир дипломата, определяющего судьбы народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена. О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания упомянутого дипломата перед уходом на вполне заслуженный отдых с солидной пенсией и статусом пенсионера союзного значения. Почему солдат в окопе для меня как читателя во многих (если не во всех) отношениях предпочтительнее своей судьбой удачливому маршалу в блеске его снаряжения, штаба и его маршальского глубокоумия? Почему так? — хочу я задать вопрос уважаемым коллегам, хотя и предвижу их скорый ответ: все дело в таланте автора. Да, но не совсем. Истинность таланта великолепно проявляется уже в выборе героя, который и внушает нам вышеизложенные чувства. Исчерпывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

В заключение хочется сказать, что роман, помимо прочих своих достоинств, это еще и очень серьезный жанр, вершина литературы. Все-таки вершина не драма, но роман. В отличие от превратной, зависящей от многих причин жизни драмы он неизменен и —

на века. И пусть его читают старинным индивидуальным способом — наедине, есть надежда, что лучшие наши романы переживут свое время. Чего не скажешь о произведениях драматургии и, особенно, кино, которые захватывают миллионы, но в вечности живут доли секунды и нередко умирают еще при жизни своих создателей. Посмотрите старые картины, которые поражали когда-то наше воображение,— тягостное чувство вызывают они сейчас. Конечно, тягостное чувство могут вызвать и некоторые романы уже в момент своего появления, но причины одинакового явления здесь все-таки весьма различны.

Поэтому, заканчивая, я хочу провозгласить: «Да здравствует талантливый, пусть неудобный и нелицеприятный, но честный и мужественный роман — главное достижение нашей литературы!»

1982 г.

ТРЕВОЖНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

В дни, когда так радостно и всенародно отмечается годовщина Великой Победы, миллионы бывших фронтовиков нашей страны ни на минуту не вправе забывать о тех, кто теперь мог быть с нами, но кого давно уже нет. Более сорока лет назад они в последний раз упали спиной на траву и остались лежать там, живя лишь в нашей солдатской, не мутнеющей с годами памяти.

Всем, кому привелось в ту войну сражаться на территории Венгрии, хорошо известно, какой ценой далась нам свобода этой прекрасной европейской страны. Многие ее географические названия, будучи произнесенными в обществе фронтовиков, действуют как заклинание, как своеобразный пароль, будящий нелегкие воспоминания и вызывающий в памяти образы, навсегда связанные с войной. И хотя минуло с тех пор немало времени, эти воспоминания так же свежи и волнующи, как они были тревожны и волнующи давней весной сорок пятого года.

В такие минуты мне живо вспоминается мой друг

лейтенант Бережной. И хотя мы потеряли там многих, может быть, не менее достойных бойцов и офицеров, образ этого юного взводного ярче других павших сквозь годы горит в моей памяти.

Мы занимали ПТОР (противотанковый оборонительный район) в непосредственной близости от передовой, на которой располагалась пехота. В отличие от нее нам, артиллеристам, было здесь чуть вольготнее, тем более что на передовой несколько дней продолжалось затишье, и мы, командиры, позволяли себе ненадолго отлучиться поблизости, навестить друзей, общение с которыми в обычной боевой обстановке было затруднительно, и мы зачастую по неделям не виделись друг с другом.

Две семидесятишестимиллиметровые пушки Бережного располагались поблизости от моих через обсаженный кустарничком проселок, и в тот тихий предвечерний час Бережной пришел на мою огневую. Я дочитывал «Сестру Керри» Т. Драйзера, которую накануне у него одолжил и обещал, прочитав, вернуть этим вечером. Надо сказать, что мы, молодые, сильно тосковали в годы войны по книгам и жадно читали все из того немногого, что попадалось под руки, а за хорошими книгами всегда была очередь. Бережной же среди нас всех выделялся своей начитанностью и еще умением в любой обстановке доставать книги. Всегда в его туго набитой полевой сумке находилось что-нибудь годящееся для прочтения.

Книгу в тот вечер я ему не вернул — мне не хватило какого-нибудь часа светлого времени, чтобы ее дочитать, так как пришел мой комбат старший лейтенант Ахрин и приказал подготовить освещение на случай ночной стрельбы. Как раз в секторе обстрела нашего орудия стояли две скирды соломы, и я вместе с двумя солдатами пошел к ним, чтобы на месте решить, как это все устроить. Бережному я пообещал принести книгу на следующий день утром — мне оставалось каких-нибудь сто двадцать страниц текста, и я вовсе не думал, что за время, нужное для их прочтения, может что-либо случиться.

Однако случилось. Случилось, что я потерял книгу и потерял моего друга.

На рассвете следующего дня немцы обрушили на нас шквал артогня, под прикрытием которого танки и бронетранспортеры 6-й танковой армии СС Зеппа Дитриха попытались осуществить свою последнюю (четвертую за зиму) попытку прорваться к Дунаю. В этот раз к Дунаю они не прорвались. Совместными усилиями войск Третьего Украинского фронта их продвижение на юг было остановлено по каналу Шио и у станции Шимонторнья.

Прежде, однако, чем это удалось, мы потеряли в жестоких боях половину личного состава полка и почти всю его материальную часть, горстка уцелевших артиллеристов во главе с командиром бригады полковником Парамоновым, теряя последних людей и последние пушки, сосредоточилась в фольварке на берегу канала Шио и сутки отбивалась от наседавших танков врага. Мой друг командир взвода лейтенант Бормотов, когда не осталось пушек, противотанковой гранатой подорвал в выемке немецкий танк, тем самым закрыв немцам выезд на понтонную переправу через канал. Однако все наши попытки прорваться к своим не принесли успеха. Наспех сформированная под моим началом группа пехоты, сумевшая пробиться через боевые порядки немецких танков, была встречена на берегу канала плотным огнем своих минометчиков, принявших нас за немцев. Потеряв нескольких человек убитыми и подобрав раненого старшину батареи Жарова, мы вынуждены были отойти обратно. Потом был ночной прорыв под огнем через занятую немцами переправу и долгая неделя изнурительных боев за высоты южнее станции Шимонторнья, стоившая больших жертв пехоте, танкистам и артиллерии. Мы потеряли в этих боях, кроме нескольких десятков бойцов и сержантов, двух командиров взводов, опытнейшего из командиров батарей капитана Ковалева и, наконец, командира полка подполковника Овчарова, убитого болванкой из танка. Многие убыли из полка по ранению. Возле орудия моего взвода, которым командовал старшина Лукьянченко, была подбита и сгорела со всем экипажем наша тридцатьчетверка, и ее обгоревший корпус несколько дней служил нам единственным укрытием от уничто-

жающего огня из «тигров». Однажды утром, когда высота на некоторое время была оставлена пехотой, наши огневые расчеты, внезапно оказавшиеся без ее прикрытия, уцелели только благодаря туману, скрывшему нас от немецких танков.

Неделя тяжелых боев под Шимонторньей окончилась мощным предрассветным взрывом, которым немцы уничтожили свою переправу через канал и начали поспешный отход на север, где в их тылы уже вторглись части Второго Украинского фронта. Вместе с пехотой наш артполк незамедлительно начал преследование, и через несколько дней снова вышел к знакомой дороге, где мы занимали разгромленный свой ПТОР. Здесь у нас оставалось некоторое количество боеприпасов, которые надлежало забрать, и несколько человек на «студебеккере» направились к огневым позициям Бережного, где он принял последний свой бой.

У меня до сих пор живо стоит в глазах эта потрясающая картина разгрома, красноречиво свидетельствовавшая о трагическом исходе развернувшегося здесь единоборства горстки бойцов с не менее чем батальоном танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». Вся весенняя земля вокруг огневой позиции была разворочена широкими следами танковых гусениц, земляной бруствер срыт начисто, пушка разбита двумя или даже тремя попаданиями тяжелых 88-миллиметровых снарядов, ствол ее перебит и свернут набок, накатник сорван; одна станина торчала сошником вверх, вторая, напротив, была вдавлена глубоко в землю. Между станинами ничком лежали два раздавленных тела наших бойцов в окровавленных и ссохшихся уже шинелях, а рядом, на бруствере, свесив в полузасыпанный ровик ноги, распластался мой друг лейтенант Бережной. Карманы его расстегнутой гимнастерки были вывернуты, пистолет с ремня срезан вместе с кожаной кобурой, орден Красного Знамени свинчен с гимнастерки, а навсегда остановившиеся серые глаза недоуменно и скорбно глядели в высокое, по-весеннему голубевшее венгерское небо.

Теперь, спустя много лет, при взгляде на это небо я почему-то вижу на нем этот недоумевающий взгляд мертвого двадцатилетнего друга, так любившего кни-

ги и так рано расставшегося со своей молодой жизнью — всего за два месяца до нашей Победы. И мне не дает покоя мысль, что, уйдя из жизни, он так никогда и не узнал о том заветном и радостном дне, когда в Европе смолк грохот разрывов и воцарился мир.

Но до того дня посчастливилось дожить нам, и наш неоплатный долг перед павшими будет до конца наших дней лежать на нашей человеческой совести.

Впрочем, может, это так и должно быть, потому что в этой тревожной памяти — та несомненно существующая нить, которая навсегда и неразрывно связала нас, живых, с павшими. И еще меня постоянно согревает мысль о счастливой жизни венгров после войны. Очень хочется надеяться, что и в Сексарде, и в Шимонторнье, и на всем пространстве возле благословенного Балатона, обильно политом кровью советских солдат, произрастает новая жизнь, которой длиться множество лет в мире и дружбе.

Чистого неба и ясного солнца вам, дорогие мои венгерские читатели.

1975 г.

ВСЕНАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

В неприметной лесной деревушке возле большой белорусской реки живет нестарая еще женщина. У нее добротный, отстроенный в послевоенное время дом, некогда разноголосо звучавший ребячьими голосами. Теперь здесь тишина, небольшое хозяйство, и досуг заполнен воспоминаниями о том давнем военном лете, когда эта женщина, тогда молоденькая девушка, потерявшая родителей, собрала под уцелевшей крышей полдюжины осиротевших на войне ребятишек, на долгие годы став для них матерью, старшей сестрой, воспитательницей. Шли годы, ребятишки учились, взрослели и расходились из лесного пристанища по своим неизведанным дорогам. И вот настала минута, когда она распрощалась с последним из младших и осталась в этом доме одна. Она не жалеет о своей нелегкой

судьбе, которую во многом определила ее доброта, проявившаяся в трудный час...

Все дальше уходит война в невозвратное прошлое, эта самая большая война, но шрамы от ее страшных когтей нет-нет да и проглянут в привычном благополучии нашей сегодняшней жизни. Минуло столько лет, а память о ней жива в сознании народа, в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые утраты, принесенные во имя победы над самым коварным и жестоким врагом — немецким фашизмом! Четыре военных года по концентрации пережитого не сравнимы ни с какими другими годами нашей истории. Кроме того, война преподала истории и человечеству ряд уроков на будущее, игнорировать которые было бы непростительным равнодушием.

Но память человека, к сожалению, ограничена в своих возможностях. То, что недавно еще было памятно тебе, по прошествии лет постепенно затягивается туманной дымкой забвения, и уже требуется усилие, чтобы вспомнить имена иных фронтовых товарищей, даты некогда так хорошо памятных боев, названия сел и урочищ, которые, казалось бы, на всю жизнь врезались в твою память. К тому же с неотвратимостью редеют ряды ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы со знанием дела и подробностей рассказать о ней людям.

В этом смысле огромнейшая задача ложится на наше искусство и литературу, обладающие, как известно, завидной способностью остановить быстротекущее время, запечатлеть его кардинальные моменты в историческом сознании народа. Действительно, за послевоенные годы всеми видами искусства создано немало замечательных произведений на темы минувшей войны, а литература обогатилась книгами, которые, можно надеяться, явятся надежным свидетельством о ней на многие грядущие десятилетия. Но все необозримое многообразие народного подвига в огневые годы войны, героизм сражающихся миллионов, полная не меньшего героизма и самоотверженности работа советского тыла таят в себе немало неосвещенных, а то и забытых страниц. Нужно как можно

больше ярких индивидуальных и коллективных свидетельств об этой небывалой в истории войне, рассказанных по радио и телевидению, написанных воспоминаний, очерков, статей.

Надо отдать должное нашей прессе и нашим издательствам — за послевоенные годы напечатано множество материалов о прошлой войне, принадлежащих перу видных военачальников, партизанских и партийных руководителей. Среди них немало интересных воспоминаний, освещенных незаурядностью личности авторов.

Читающая общественность отметила появление необычной книги рассказов о злодеяниях оккупантов на белорусской земле «Я из огненной деревни», записанных А. Адамовичем, Я. Брылем и В. Колесником. Совсем недавно тот же А. Адамович в соавторстве с Д. Граниным опубликовали «Главы из Блокадной книги» о людях осажденного Ленинграда. Несколькими годами ранее наша литература обогатилась чрезвычайно содержательными военными дневниками К. Симонова.

Трудно переоценить значение того дела, которое делают вышеназванные и другие авторы. Большая заслуга в этом жанре принадлежала С. С. Смирнову с его «Брестской крепостью». Эта и последующие его книги, построенные на скрупулезной фактической достоверности, свободные от всегда сомнительного в таких случаях беллетристического элемента, страстно ратующие за воздание должного непризнанным, а то и забытым героям войны, явились откровением для своего времени.

Разумеется, литература не может не сознавать свой долг как по отношению к забытым страницам войны, так и по отношению к ее героям, ветеранам многих сражений, обладающим уникальным опытом, но, по ряду причин, не имеющим возможности должным образом запечатлеть его на бумаге. При Союзах писателей ряда республик созданы и работают комиссии по военной литературе, опытные авторы разбирают рукописи воспоминаний, помогают их доработке. Немало книг ежегодно выходит в литературной записи профессиональных литераторов. И в данном случае

весьма важным является не только профессиональное мастерство литературного помощника автора, но также и его жизненный и военный опыт, степень владения материалом.

Но, к сожалению, бывает и так, что автор литературной записи, должно быть, не располагая добротным оригиналом и не обладая личным военным опытом, ограничивается в своей работе более или менее грамотным изложением фактов и впадает в еще больший, на мой взгляд, грех — насильственную беллетризацию материала. И тогда на протяжении многих страниц читателю предлагаются бесконечные разговоры персонажей, поданные в их прямой речи, якобы имевшей место в действительности, что само по себе уже вызывает сомнение.

Каждый литературный жанр имеет свои законы, присущие ему одному особенности, и многое из того, что обязательно для художественной литературы, совершенно противопоказано литературе документальной. И уже совсем непозволительно, когда имя такого литературного помощника значится на обложке книги рядом с именем ее настоящего автора, а то и вместо него. Возможно, подобная трансформация не преступает юридические или литературные нормы, но, кроме них, существуют же и этические нормы, так что простая замена первого лица третьим в данном жанре еще не дает права на авторство.

Довольно распространенной, как и не менее огорчительной ошибкой пишущих о пережитом в годы войны является стремление создать на ее материале роман или повесть, вместо того чтобы подробно, строго придерживаясь фактов, и без малейшего вымысла написать о том, что было и что хорошо запомнилось. Не обладая должными литературными навыками, эти люди при всей похвальности их намерений затрачивают массу времени на создание произведения, заранее обреченного на неудачу, после чего следуют неизбежное разочарование, необоснованные обиды на редакторов и консультантов. Всего этого можно и должно избежать, если автор будет ясно сознавать стоящую перед ним задачу и разумно соизмерять с ней собственные литературные возможности.

Не следует, конечно, полагать, что все написанное в различных видах и формах воспоминаний будет опубликовано в печати. Многое останется в рукописях, станет документом семьи либо будет сдано в музеи и архивы, где сохранится на длительное время и в конце концов найдет своего благодарного читателя.

Планы и возможности наших издательств, как известно, ограниченны, но нельзя не признать также, что издательства еще недостаточно работают с ветеранами, стимулируя их к созданию книг о войне, недостаточно ведут поиск интересных рукописей, а из того, что самотеком поступает в издательства, многое так и не находит дороги к читателю по причине производственной трудоемкости или необычности материала. Особенно если автор такой рукописи — рядовой участник войны и после нее не так уж много преуспел.

Я знаю живущего в Гродно бывшего командира батареи Ивана Григорьевича Ущаповского, человека, действительно прошедшего всю войну от первого ее дня до последнего, много пережившего и много на ней повидавшего. Обладая удивительной памятью относительно всего, что касается той поры, он отдал несколько лет жизни созданию воспоминаний о пережитом, написал более тысячи страниц на машинке. Это искренний и правдивейший документ — свидетельство о величайшей из войн, увиденной глазами ее рядового участника, но пока еще не нашедший своего издателя.

Долг всех, кто пережил величайшую из войн и кому есть что рассказать людям, сделать это в любой доступной для него форме.

Мы, литераторы, а также издатели, журналисты должны помочь тем, кто не имеет достаточных для того возможностей. И старый заслуженный генерал, проведший свою дивизию от подмосковных полей до Берлина, и прославленный партизанский руководитель, организатор всенародной борьбы на оккупированной территории, и безвестная женщина, воспитавшая шестерых сирот, могут и должны поведать истории и человечеству о пережитом ими в лихую годину.

Многие уже написали, другие пишут. Отрадно, когда за перо берутся не только люди, обладающие определенным досугом, но и чрезвычайно занятые люди, для которых несколько свободных часов в неделю — трудноразрешимая проблема. Недавно мы с другом журналистом были на приеме у одного из белорусских министров, который в конце разговора доверительно сообщил, что собирается написать книгу. Мы, конечно, дружно поддержали это намерение, и один из нас, подумав о постоянном дефиците его времени, сказал, что надо подыскать помощника.

— А нет! — решительно заявил министр. — Такое дело я не могу доверять никому. Только сам!

Что ж, похвальное решение!

9 февраля в Минске закончилось всесоюзное совещание, созванное Союзами писателей СССР и БССР. Несколько дней известные писатели и литературоведы обсуждали проблему «Героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны и современная документальная литература». Определены задачи, стоящие не только перед документальной, но и художественной литературой о войне. Главный же вывод таков: все мы, участники минувшей войны, каждый в меру своих сил и возможностей должны неустанно свидетельствовать перед народом и историей о нашем уникальном опыте, явившемся для многих также и огромным жизненным опытом, а для народа в целом — величайшим из испытаний, когда-либо выпадавших на его долю. Это наш писательский, гражданский и воинский долг.

1978 г.

МНОГО ЛЕТ НАЗАД...

В конце декабря 44-го года при отражении немецкой контратаки южнее Секешфехервара я был ранен в руку и отправлен в ГЛР (госпиталь легкораненых) 4-й гвардейской армии.

Госпиталь располагался в маленьком живописном городке Сексарде на правобережье Дуная и занимал

здание отеля в самом центре города. Раненых было много, тесные помещения-номера вмещали по две кровати, на каждую из которых клали по двое, а то и по трое раненых, благо кровати были на западный манер — солидной вместимости. Моим напарником оказался старший лейтенант, командир стрелковой роты, раненный неделю назад в челюсть. С лицом, только обмотанным бинтами, он выглядел словно нынешний космонавт в скафандре и, почти не разговаривая, только мычал иногда что-то нечленораздельное, а ночью ворочался и зло ругался. Несколько первых дней я отсыпался между перевязками и процедурами — на чистых простынях, в тепле и покое. После недавно пережитого, при относительно легком ранении это казалось блаженством, да, по существу, таковым и являлось. В этом же госпитале, только на первом, солдатском, этаже находился и наводчик моего орудия, которое было разбито снарядом из танка; иногда мы встречались в коридоре и разговаривали. Наводчик был ранен спустя несколько минут после моего ранения, он рассказывал о последних выстрелах из орудия, и мы оба тяжело переживали гибель нашего расчета. Правда, там, в батальоне, оставалось еще одно орудие взвода, но оно было неисправным, и вести из него огонь было невозможно.

Режим в госпитале был, в общем, не строгий. Офицеры могли в свободное время выходить в город, и мы иногда прогуливались по его узеньким улочкам, крохотной центральной площади с конной статуей посередине. Там же был ресторанчик, в нем с шутками-прибаутками лихо обслуживал клиентов цыганского вида гарсон. Иногда мы захаживали туда перед обедом выпить стаканчик-другой местного вина и закусить ветчиной с паприкой — венгерским перцем, который там готовился в десятках видов. Там же в узком кругу мы отпраздновали и встречу нового, 45-го года — четверо или пятеро молодых людей, волею войны и ранений сведенных ненадолго вместе. Память не сохранила имен участников той встречи, запомнилась только веселая хохотушка Валя-Валечка, юная блондинка с короткой стрижкой, которая долечивавалась в нашем госпитале. Она была ранена месяц

назад при форсировании Дуная, на днях за ней должны были приехать из части, где она служила фельдшером в санроте. Далеко за полночь, в уже наступившем новом году, мы возвращались по ночному городу в госпиталь, и Валя рассказывала о себе, о том, что родом она из Казатина, что до войны училась в медицинском училище, что это ее третье ранение и что, как только кончится война, она пойдет в мединститут, потому что в медицине видит единственное свое призвание и не мыслит другого занятия в жизни. «А вам еще служить, как медным котелкам»,— подшучивала над нами Валя. Мы не возражали, чувствуя, однако, насколько все это проблематично, как для нас, так и для Вали. Над городом и ближними холмами лежала новогодняя ночь, сыпал реденький пушистый снежок, было не холодно и почти тихо. Это были немногие из счастливых минут, пережитых мной на войне, которая под покровом новогодней тишины продолжала готовить нам свои кровавые сюрпризы.

Прогуливаясь по тихим улочкам Сексарда, мы почти не думали о том, что происходило в ту ночь недалеко к северу, на передовой, куда немцы спешно стягивали из Франции, Польши свои ударные танковые дивизии, их «тигры» уже занимали боевые порядки в ближних тылах, а гренадеры поспешно изготавливались для атаки с целью деблокирования Будапешта. Второго января начались ожесточенные бои сначала возле Дуная, а затем южнее, у озера Балатон; неделю спустя в Вену прибыл сам Гитлер, который взял на себя руководство всей операцией и силами шести танковых и двух пехотных дивизий нанес удар по обескровленным, вымотанным непрерывными боями частям 4-й гвардейской армии. Немцы прорвали фронт и вышли к Дунаю.

Госпиталь в Сексарде был поднят по тревоге и в спешке начал эвакуацию на левый берег Дуная. Транспорта для всех не хватало. На немногих машинах и повозках были отправлены те, кто не мог передвигаться самостоятельно, остальные своим ходом ночью в снегопад совершили марш в район Байи, где по битому льду перешли через Дунай. Долечивались мы в Сегеде.

Потом для меня снова потянулись долгие недели упорных боев под Балатоном, немцы долго не оставляли своих попыток расколоть войска Третьего Украинского фронта и сбросить их в Дунай. Один из их мощных ударов принес им успех, мы снова отступили, потеряв много боевых друзей, техники и вооружения. Но все же на дворе стоял сорок пятый год, перевес сил был явно не в пользу немцев, и близка была наша победа.

Она явилась для нас теплым солнечным днем в Австрийских Альпах близ города Ротенмана на реке Энс, где мы встретились с союзниками.

Этому дню предшествовали недели наступления по Венгрии, жестокие бои на австрийской границе и в горных районах Альп. После 5 мая выдались два дня передышки, в течение которой наш 1245 ИпТАП вместе с пехотой готовил новый, казалось, уже последний удар по упорно сопротивляющемуся противнику. Уже был повержен Берлин, ходили слухи о скорой капитуляции Германии. Но это там, на севере, здесь же, в Альпах, перед нами оборонялись немецкие дивизии, которые предстояло сбить с их, как всегда, укрепленных позиций.

Атака была назначена на 19.00 7 мая, и весь день до вечера прошел для меня в хлопотах по ее подготовке. После полудня артиллерия пристреляла цели, пехота изготовилась к броску из передней траншеи. Солдаты дописывали письма. Все понимали, что в этом последнем, по всей вероятности, бою кому-то суждено будет навеки остаться в чужой земле, считанные часы не дожив до победы. Помнится, я тоже написал своим старикам, однако отправить письмо не успел — меняли огневые позиции, и стало не до того.

Как и было назначено, в 19.00 пехота поднялась, достигла немецкой траншеи, но... траншея оказалась пустой. Немецкие гренадеры скрытно покинули ее за час до нашей атаки и по всем дорогам устремились на запад, навстречу беспрепятственно наступавшей американской армии. Мы начали преследование, а затем и обгон бесчисленных колонн немецкой пехоты, которая уже не оказывала сопротивления. Города и поселки горной Австрии встречали нас белыми фла-

гами, простынями с балконов, цветами и радостью на лицах исстрадавшихся австрийцев.

На реке Энс состоялась встреча с авангардом американской армии, мы на радостях выпили и проспали ночь на обочинах шоссе, в кузовах и кабинах автомобилей. Проснувшись назавтра, торжествовали победу. Было 9 мая.

Последнее свое письмо с войны я обнаружил потом в полевой сумке и с наслаждением разорвал его в клочья.

А месяц спустя, вспомнив зиму, Новый год и госпиталь в Сексарде, написал в воинскую часть Вали, откуда через месяц получил официальный ответ, из которого следовало, что лейтенант медслужбы Ершова пропала без вести в январе 45-го года.

1985 г.

СТАВШЕЕ ЖИЗНЬЮ И СУДЬБОЙ

Эта серия фильмов родилась не сразу и имеет свою предысторию, в основе которой — пятилетней давности призыв А. Адамовича к кому-нибудь из «неленивых и любопытных» литераторов «отложить на время свои высокоталантливые произведения» и пойти к бывшим фронтовичкам и партизанкам с магнитофоном, чтобы записать их воспоминания. И вот это сделано, воспоминания записаны, и по ним сняты фильмы. Хотя то, что мы слышим с экрана, воспоминаниями можно назвать лишь с трудом, с известной натяжкой — столько в этих монологах неутихающей боли женщин, что кажется: все это продолжает жить в них поныне и до сих пор жжет их немолодые души печалью и ненавистью. И все-таки это прошлое, наша большая война, о которой мы столько уже знаем по собственному опыту, свидетельству литературы, кино, истории.

Но, оказывается, знаем не все.

Эта неполнота даже самого искушенного знания о войне обнаруживается сразу, с первых же кадров первого фильма В. Дашука и С. Алексиевич, который

выходит на экраны страны под общим названием «У войны не женское лицо». Хотя вряд ли обличье войны можно назвать и мужским, но уж действительно не женским: столько в нем бесчеловечного и жестокого, свойственного скорее животному миру, нежели человеческому обществу. Но такой поворот основательно отработанной темы в нашем искусстве мы видим, пожалуй, впервые, и мы благодарны создателям фильма за еще одну правдивую страницу из великой правды о минувшей войне.

Виктор Дашук, приступая к работе над данной серией, уже имел солидный опыт такого рода, приобретенный им при создании совместно с А. Адамовичем сериала «Женщины из убитой деревни». Работа же над этой серией началась со знакомства с огромным материалом Светланы Алексиевич, потратившей годы на розыск и запись рассказов сотен женщин, участниц прошлой войны и создавшей книгу об их трудном, но и героическом прошлом. Разумеется, то, чем воспользовался В. Дашук, только маленькая крупица из ее собрания, но и в этой крупице, как в капле воды отражается океан, отразился океан человеческого горя, мужества и героизма.

Именно героизма прежде всего, ибо как еще можно назвать все то, что пережила на фронте хотя бы одна из героинь фильма, санинструктор стрелкового батальона Ольга Омельченко, спасавшая на поле боя раненых, порой мокрая от чужой крови, терявшая силы от каторжной неженской работы, случалось, зубами перегрызавшая мякоть перебитой руки раненого, принимавшая участие в расстреле осужденных за трусость в бою. Это ей с осуждением и тревогой впоследствии скажет майор, командир батальона: «Как ты будешь жить после войны, Омельченко?» Невеселые эти слова были восприняты Ольгой с недоумением, но потом, после войны, действительно не раз приходили на ум бывшей фронтовичке, послевоенная судьба которой оказалась ненамного ласковее ее фронтового прошлого.

Чем, как не высоким мужеством, исполнена другая судьба другой девушки — зенитчицы Вали Чудаевой, получившей в бою тяжелое ранение и отморозив-

шей ноги в снежном сугробе, куда она была отброшена взрывом. Но она по своей доброй воле избрала для себя такую участь, и когда в госпитале, оказавшись перед необходимостью ампутации ног, пыталась покончить с собой, ее спасли доброта пожилой нянечки и мастерство молодого капитана-хирурга.

Действительно, доброта однозначна и самоценна, но нигде ее надобность не обнаруживается с такой необходимостью, как на войне. Девушка-санинструктор в пехоте была и спасительницей раненых, кровью истекавших на поле боя, и их утешительницей в последние минуты жизни. «Когда человек умирает и ты не можешь ему помочь, ты целуешь его, гладишь, ласкаешь — прощаешься с ним. Все это тяжело, это очень тяжело, и таких много было, и эти лица у меня вот и сейчас в памяти... Почему-то вот годы прошли, а хоть бы кого забыть...» — говорит санинструктор Тамара Умнягина, и в этом тоже проявление самой милосердной женской доброты и неувядающей женской памяти о войне в ее конкретных подробностях, ее не всегда лицеприятных деталях — ее правды.

Каждый волнующий рассказ в фильме дополняется следующим, не менее будоражащим наше сознание, неизменно расширяя наше представление о той роли, которую сыграли в войне призванные на нее восемьсот тысяч женщин. Роль эта многосложна и многозначительна и до конца еще не исследована нашим искусством, создавшим ряд героических образов девушек на фронте и в немецком тылу, преимущественно принадлежавших к «престижным» военным специальностям — снайперов, летчиц, разведчиц. А вот перед нами свидетельство представительницы иной специальности — записанный С. Алексиевич рассказ прачки банно-прачечного отряда Марии Дедко: «Стирала белье. Через всю войну стирала... Белья привезут... Халаты белые. Ну эти маскировочные, а они в крови, не белые, а красные. Гимнастерка без рукава и дыра во всю грудь. Слезами отмываешь и слезами полощешь...»

Женщины помнят все или почти все и, что особенно важно, по прошествии лет умеют рассказать

(как о трудном, трагическом, так и о светлом, хорошем) с подкупающей простотой и искренностью. На войне наряду с кровью, боями, страхом и ненавистью уживались и светлые чувства. Любовь между молодыми людьми и там не была исключением, правда, там она в большинстве случаев имела трагический финал. В этом смысле запоминается рассказ все той же Ольги Омельченко, отдавшей свою кровь незнакомому лейтенанту, который после выздоровления отыскал ее в госпитале и вызвал в девичьей душе светлое чувство любви. Ольга, как только было возможно, берегла его, это свое первое чувство, пронеся его через многие бои и невзгоды вплоть до того осеннего дня, когда на освобожденной Сумщине среди свежезакопанных могил с дощатыми столбиками увидела и табличку с именем своего любимого. Светлую грусть вызывает в душе зрителя этот невеселый рассказ, и полная этой грусти мелодия известных романсов ненавязчиво звучит на протяжении всего фильма.

Но в фильме В. Дашука и С. Алексиевич не только война. Вся образная структура серии выстроена так, что военно-документальные кадры перемежаются современными, рассказ мастерски сочетается с показом. В нарочито замедленной съемке мы имеем возможность разглядеть лица, жесты, движения людей на поле боя, перевязку в воронке, друзей, прощающихся с убитым на краю могилы, и радостные рукопожатия командира, уезжающего на передовую из медсанбата. Героини фильма не только вспоминают о своей трудной участи, но и рассуждают о жизни, людях, о современной молодежи, счастье и благополучие которой во многом определила наша победа в минувшей войне. Неоднозначно это отношение к послевоенному поколению, оно несет с собой ряд непростых проблем, над разрешением которых так или иначе приходится думать многим. В книге С. Алексиевич есть запись беседы с бывшим врачом медсанбата Лидией Соколовой, много пережившей на фронте в годы войны. На вопрос журналистки, рассказывала ли она о войне своим детям, Лидия Константиновна отвечает отрицательно.

— Мы жалели своих детей. Наши дети выросли, ничего не зная о тех ужасах, которые нам пришлось пережить.

Наверное, можно понять женщину-мать, всячески оберегающую детей от невзгод жизни, но вряд ли можно считать ее принцип правильным. Да в конце разговора она и сама признает, что дети должны воспитываться на примере родителей, судьбе того поколения, которое пережило войну и которого становится все меньше.

И это несомненно.

Этой же благородной цели служит многотрудная и многозаботная работа молодой журналистки С. Алексиевич по сбору и записи женских свидетельств, которая еще не закончена и продолжается, и фильм, прекрасно снятый признанным мастером-кинодокументалистом В. Дашуком.

Кроме всего прочего, в их деле мне видится красноречивый ответ на вопрос, часто задаваемый молодыми авторами: как следует писать о войне по молодости лет не участвовавшим в ней? Хочется ответить им: прежде всего вот так, как написала Светлана Алексиевич и снял Виктор Дашук,— честно, правдиво, без недомолвок и отсебятины, с уважением к делу и слову людей, для которых прошлая война была их трудной жизнью и навсегда стала судьбой.

1983 г.

ВСЕ, ЧТО МЫ МОЖЕМ

В последнее время все чаще проводятся крупные культурные мероприятия — центральные и региональные,— которые дают возможность их участникам и всей культурной общественности вести деловой разговор на равных, взаимообогащаясь, учась и уча, но не поучая. Я думаю, что эта замечательная тенденция будет развиваться и совершенствоваться.

Да, конечно, слово писателя — огромная сила, это стало известно не сегодня и не вчера даже. Классическая литература каждого из развитых народов, и,

может быть, русская классика в первую очередь, явилась генератором высокой духовности, которая дала силу народам выстоять в годы труднейших исторических испытаний, сохранить язык, культуру, нравственное здоровье поколений. А ведь многие классики вряд ли сознательно ставили перед собой столь грандиозные и так далеко отстоящие цели. При всем даровании (которое, кстати, многие из них расценивали весьма сдержанно) они больше заботились о современности, задачах злободневных и близких.

Как же им удалось создать действительно бесценную сокровищницу духовности, способную влиять на народное сознание спустя многие годы, десятилетия и даже века? Я думаю, прежде всего потому, что их сердца исходили непрестанной болью за судьбы своего народа и человека как такового. Да, они понимали прекрасно, что человек несовершенен, «греховен», как говаривали в старину, что народ достоин лучшей исторической участи, что общественное устройство нуждается в реконструкции, может быть, в революционной переделке. Но они не поучали, ничего не навязывали, редко «призывали». Они показывали человечеству его собственный лик, оставляя ему, человечеству, решать, как быть дальше. Поскольку по своему духовному складу они были гуманистами, людьми, кроме таланта наделенными еще и кристальной человеческой совестью, их словам внимали современники, так же как спустя годы и столетия внимали и мы, живущие в совершенно другое время, в другом социальном, политическом, нравственном климате, в эпоху НТР.

Да, действительно, в эпоху НТР, с результатами которой мы сталкиваемся ежедневно, плоды которой тоже пожинаем ежедневно, уже не составляет труда представить себе, какие из этих плодов предстоит пожать в обозримом будущем, потому что при всем всеохватном разнообразии НТР одна обособленная ветвь ее развивается довольно определенно. От всего человечества требуются гигантские усилия регламентировать ее в этом развитии, если уж нельзя удержать или остановить, иначе эта лавина угрожает сделаться неуправляемой. В таком случае нетрудно представить

себе финальный аккорд этого низвержения в пропасть, где в виде некоей неопределенной туманности на месте Планеты Людей могут упокоиться их иллюзии, их метания и терзания, все низменное и высокое, чем обладали они в преизбытке.

Так что же можем мы, литераторы, мастера слова, гуманисты, избравшие методом своего творчества самый передовой и испытанный метод социалистического реализма?

Разумеется, можно много говорить на данную тему в прекрасном Баку, Минске, Москве или благословенной Софии, можно даже сказать, что все это стало делом привычным, как привычны наши выступления и резолюции, составленные из очень знакомых, давно обкатанных слов. Следует заметить — очень хороших и правильных слов, но, по-видимому, недостаточных перед той угрозой, с которой столкнулось человечество. Очевидно, нужны новые действенные меры, может быть, новые слова, а главное — новые идеи.

Но писатели редко создают оригинальные идеи, даже и классики не очень охотно искушались по этой части. А если и искушались проповедовать, как великий Лев Николаевич, то их не очень-то слушали при жизни, да и нынче тоже, расценивая эту проповедь как ошибку, каприз, завихрение старческого ума.

Так что же мы можем?

Мы можем то, что мы умеем: писать. Все мы живем в свое время, и худое ли оно, хорошее ли — для нас другого не будет. И мы должны выполнить наше, как бы сказали в старину, «божеское предначертание» — оставить после себя свидетельство об этом времени. Может быть, кое-что из сотворенного нами пригодится если не сейчас, то когда-либо в будущем. А если не пригодится, что ж, мы не посетуем, вспомним, сколько из созданного до нас не пригодилось, забыто, а ведь и в прошлом в литературе были не одни бездари. Главное, я думаю, мы должны делать свое дело честно и как можно лучше. Без спешки. Без лести и лукавства. Без желания потрафить во что бы то ни стало. Мы должны помнить, чем заканчивались самые изощренные попытки на этот счет.

Но, скажете вы, зачем все это перед лицом того, что витает над миром? Не будет ли это простой тратой времени и усилий, когда... Может быть, будет. А может, и нет. Где тот мудрец, который с достаточной уверенностью ответит на это? Мы знаем, сколь туманно прошлое каждого народа, можно ли угадать наше будущее?.. С совершеннейшей определенностью ясно лишь то, что страна переживает сейчас, может быть, самый благополучный период своей истории — без голода, эпидемий, войн, с неотвратимой регулярностью каждые четверть века сотрясавших страны Европы; уровень культурного развития народных масс не имеет себе равного в прошлом...

Тем более, или несмотря на все, мы должны трудиться каждодневно и еженощно, летом и зимой — каждый год из отпущенных нам в жизни. И даже если бы шанс избежать катастрофы был бы равен одному из тысячи, наши усилия окупились бы сторицей. Мы свидетели времени и генераторы духовности, которая единственно еще вселяет надежды. Наше же молчание или небрежение в нашем деле обернулось бы не чем другим, как лжесвидетельством, кощунственным вообще и преступно кощунственным перед лицом угрожающей всем опасности.

И тут мне хотелось бы сказать еще об одном. Конечно, у нашей литературы еще немало различных, порой действительно трудноразрешимых проблем, как, например, проблема художественного перевода, о которой было высказано немало точных и верных суждений в докладе Г. А. Алиева, в содокладе Ю. Суровцева и выступлении С. Баруздина. Есть и другие проблемы. Но не надо создавать псевдопроблем, чтобы затем призывать литературную общественность бороться с ними. Горький и Маяковский находятся на такой высоте всенародного и мирового признания, что, по моему убеждению, не нуждаются ни в какой защите, тем более за счет других выдающихся имен нашей литературы.

Вся страна ныне отмечает 100-летний юбилей серебряной звезды русской поэзии А. Блока,— как можно говорить, что ему воздается больше заслуженного? Что же касается Ахматовой, Цветаевой и

Булгакова, то ничего нет страшного, если мы после их смерти воздаем им то, что они заслужили,— печатаем их.

Ну а конференции, подобные нашей?

Как я уже сказал вначале, они, несомненно, благо. Они благо хотя бы потому, что предполагают в первую очередь ни с чем не сравнимое счастье общения единомышленников — писателей и наших читателей. Все-таки мы живем в одной — худой ли, хорошей ли — нашей родной деревеньке, название которой Земля. И пока она еще вертится, это же замечательно — на исходе дня собраться на одной из завалинок и порассуждать о жизни. Даже если эти рассуждения сугубо деловые и не очень веселые.

Ну а если они вселяют надежду, то тем более это замечательно.

1981 г.

ПОД КИРОВОГРАДОМ

Очень это непросто — писать о пережитом, тем более о давнем военном прошлом. И не потому, что многое выпадает из памяти — память фронтовиков как раз цепко удерживает все, что касается пережитого в годы войны,— трудности же здесь несколько иного рода. Как я теперь думаю, они в эмоциональном отношении к тому, что когда-то было проблемой жизни и смерти, а ныне, по прошествии лет, отдалилось настолько, что стало чем-то почти ирреальным, из области снов, привидений. Иных в этом отношении к пережитому в годы войны тянет на юмор, на поиски забавного или, на худой конец, увлекательного по сюжету и его извилистым прихотям. Мне же все это по-прежнему видится в кровавом, заторможенно-неврaзумительном тумане,— как оно и отразилось тогда в нашем горячечном сознании, изнуренном боями, опасностью, предельным физическим напряжением и бессонницей.

1944 год начался для меня (как, впрочем, и закончился) в отчаянной борьбе с немецкими танками,

одним, а затем и вторым ранениями, радостями многих больших и малых побед, а также и горечью неудач, зачастую трагических для солдата переднего края — наверное, всем комплексом переживаний, присущим любому фронтовику-окопнику.

Самое начало года, первые дни января, выдалось вполне успешным и даже весьма обнадеживающим. Войска Второго Украинского фронта перешли в наступление под Кировоградом. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали немецкую оборону, и наша дивизия в числе других стрелковых соединений фронта легко и без потерь вошла в этот прорыв. Нашей задачей было расширять прорыв, следуя за танками, обеспечивать фланги. Наступали мы в основном ночью, когда над заснеженной степью спускались прозрачные зимние сумерки; до вечера же вели огневой бой с немцами, пережидая бомбежки, которые следовали одна за другой почти от восхода солнца. Вечером батальон сворачивался в походные колонны и вдоль немецкой обороны, между очагами вражеского сопротивления протискивался за танками на запад, однако отставая от них, что составляло тогда немалую заботу командования, непрестанно торопившего нас. Это же обстоятельство послужило, по-видимому, причиной того, что высланная вперед разведка недосмотрела, прозевала в степи довольно крупное сосредоточение немецких танков, всей мощью своего огня неожиданно ударивших из зарослей кукурузы по нашей походной колонне.

Батальон рассыпался по снежной степи, многие были сражены на узкой полевой дороге, другие побежали к черневшим в отдалении скирдам. Тотчас за трассирующим шквалом пулеметного огня взревели моторами танки, и на поле высыпали немецкие автоматчики. Упав в рыхлый снег, я выпустил по ним свой диск и, когда стал перезаряжать автомат, обнаружил, что остался почти в одиночестве на этой стороне дороги. Боец, лежавший несколько впереди, уже не двигался, другие же ушли далеко назад, за дорогу, и перебежками старались добраться до скирд, представлявших здесь некоторое убежище. Я попытался вскочить, но сверкающий огневой шквал вынудил

меня упасть снова. Танки были совсем близко, в громыхании боя послышались выкрики немецких автоматчиков: «Рус, сдавайся!» Перезарядив автомат, я все-таки вскочил, потому как малейшее промедление грозило теперь обернуться худшим, чем гибель. Несколько десятков метров я передвигался бросками — пригнувшись, делал 5—6 широких шагов в густом сверкании трасс, падал и тотчас вскакивал снова. Мне надо было оторваться от немцев и догнать своих. В отдалении уже слышались заглушаемые боем крики и ругань моего ротного, лейтенанта Миргорода, отчаянно пытавшегося остановить бегущих и организовать сопротивление. Но была ночь, и хотя на снегу четко различался каждый силуэт бойца, лиц бегущих разобрать было невозможно. Я почти уже добежал до него, как вдруг сильный удар по ноге выше щиколотки опрокинул меня на снег. Сапог стал быстро наливаться кровью, и первой моей мыслью было: не перебита ли кость? Если кость перебита, то, разумеется, все для меня окончилось. Но танки уже приблизились, один через мою голову строчил из пулемета по бегущим к скирдам, и я тоже вскочил. К счастью, нога не подломилась, значит, кость цела (потом обнаружилось, что пуля отколола от голенной кости узкий обломок, в течение трех месяцев задержавший меня на госпитальной койке). Выпустив автомат, я отстегнул от ремня тяжелую противотанковую гранату кумулятивного действия и размахнулся. Однако мой бросок не достиг цели, кумулятивная не взорвалась (возможно, я не добросил или промахнулся), и танк, круто повернув в мою сторону, поддал газу. В клубах поднятого гусеницами снега он озверело ринулся на меня. В последний момент я едва успел отбросить в сторону ноги, как он прогромыхал рядом, обдав меня снежным крошевом и траками вмяв в снег полы моей простреленной шинели. Сквозь поднятый им снежный вихрь я, однако, успел ухватить взглядом взметнувшуюся впереди фигуру Миргорода, его взмах руки, и тотчас мощный взрыв пахнул мне в лицо, сбив на снег шапку. Тяжело качнувшись, танк остановился, на его броню из башни вывалились два человека в черном. Тут уж я ударил по ним из автомата, и они

скатились на землю. Однако больше мой автомат не стрелял: может, заело в диске или кончились патроны, мне недосуг было разбирать в том,— танки уже расстреливали из пушек скирды, туда же устремились немецкие автоматчики. Сзади за ними на всем протяжении до кукурузы темнели распластанные тела убитых, некоторые из раненых пытались ползти. Из недалекого провала свежей воронки, пригнувшись, ко мне подбежал боец нашей роты, он был ранен в плечо, и правая рука его плетью волочилась по развороченному гусеницами снегу. Солдат плакал, матерился, но он помог мне выбраться с того поля в засыпанные снегом заросли подсолнуха, с трудом преодолев которые мы очутились на едва приметной полевой дорожке. Здесь нас догнала повозка, на которой лежали двое раненых, и девушка-санинструктор с повозочным встревоженно вслушивались в грохот близкого боя. Стащив с ее помощью простреленный сапог, я вылил из него кровь. И девушка впервые перевязала мою ногу. К полуночи мы были уже в селе, где возле церкви в просторном поповском доме расположилась санчасть какой-то стрелковой дивизии.

В доме этой санчасти мне пришлось пережить ночь, события которой с достаточной подробностью описаны на страницах одной из моих повестей, а наутро всех его обитателей подняла отчаянная стрельба на околице — село атаковали немецкие танки. Обороны здесь никакой не было, в селе располагались тыловые службы, санподразделения, и вскоре все, кто был способен к передвижению, бросились по балке в село по соседству.

Но что было делать раненым?

В последний момент, когда почти все наши покинули село, я выполз из санчасти на улицу с единственной подобранной во дворе противотанковой гранатой, намереваясь погибнуть недаром. Несколько минут, лежа в канаве, ждал появления танков, которые тем временем уже вошли в село и расстреливали последних его защитников, как вдруг из-за угла побитой осколками мазанки выскочила пароконная повозка с седоками. Закричав, я замахнулся гранатой, охваченный внезапным намерением задержать мой

ускользающий шанс, и повозка остановилась в полусотне шагов на улице.

Эта повозка вывезла меня из села, сзади по нас торопливо стреляли танки, уже появившиеся у окраинных хат, за греблей. Тяжелые болванки угрожающе фуркали над головами, но нам повезло: мы выскочили из-под огня и на пригорке у соседнего села были решительно остановлены незнакомым офицером в полушубке, который собирал всех, укладывая в боевой порядок. Пришлось и мне залечь в цепь, хотя, кроме пистолета и гранаты, у меня ничего больше не было. Но в нашем положении противотанковая граната все-таки чего-то стоила.

Нас набралось здесь человек сорок. Второпях мы вырыли в рыхлом снегу неглубокие ямки и залегли. Очень скоро из балки появились танки, их было одиннадцать, при виде нашей цепи они замедлили ход, а затем и остановились вовсе. Эта их остановка сначала обрадовала, а затем и озадачила нас: лучше бы они нас атаковали, мы бы тогда попытались отбиться гранатами. На расстоянии же они были для нас неуязвимы, зато вполне уязвимы для них были мы. Не раз мне на фронте приходилось переживать подобную ситуацию. Так было и потом, в конце 44-го при втором моем ранении под Балатоном в Венгрии, когда танки с близкого расстояния буквально за несколько минут выбили залегший на мерзлой земле батальон. Снарядов они не жалели, времени у них было в достатке, впрочем, как и сноровки тоже.

Они расстреливали нас, методически, аккуратно посылая по снаряду в каждого бойца, и спустя четверть часа вместо нашей цепи на снегу чернел ряд кровавых разрывов с разметанными вокруг комьями мерзлой земли. Уцелевшие, почти все раненые, скатились по обратному склону в село, невесть на что надеясь и невесть что полагая. Но все-таки, как оказалось, мы задержали их, пусть и ненадолго, но за это время на улицах села появился десяток наших тридцатьчетверок, по-видимому, срочно переброшенных сюда с другого участка фронта. Они вышли на сельскую окраину, и между танками завязалась огневая дуэль, которая продлилась до вечера. Две наши три-

дцатьчетверки сгорели в вишеннике на отшибе, но горели и немецкие танки — за бугром в погожее небо долго валили черные клубы дыма. Вдобавок ко всему под вечер налетели «мессершмитты» и принялись нещадно бомбить село, от разрывов их бомб разваливались глиняные мазанки, разлетались плетни и сараи. Мы с несколькими ранеными сунулись в какой-то погреб, где и просидели до ночи. Но в наступивших сумерках наши тридцатьчетверки стали покидать свои позиции за селом, и чумазый капитан-танкист объявил, что они уходят. Раненых, если те пожелают, могут взять на броню. Ночью село, по всей вероятности, будет занято немцами.

Мы торопливо взобрались на броню, человек по шесть на машину, вцепились в железные поручни. Тяжелораненых устроили посередине. Сначала нам было тепло и удобно, следовало только держаться покрепче. Но едва танки тронулись, снова налетели немецкие самолеты, началась ожесточенная ночная бомбежка. Некоторое время танки двигались, не обращая на нее внимания, то и дело пошатываясь в стороны от близких разрывов, которые грохотали справа и слева, спереди и сзади, обрушивая на нас пласты снега и комья мерзлой земли, высекая осколками искры из брони. Но, после того как одна из машин взорвалась и из нее никто не выбрался, танкисты при первых разрывах бомб стали останавливать машины и разбегаться в стороны от дороги. Раненые, способные к передвижению, тоже соскакивали с брони, на которой оставались лишь те, кто не мог слезть и особенно взобраться на нее после. Притиснувшись к башне и сжавшись в болезненный ком, я пережидал на танке четыре или пять таких бомбежек, опасаясь лишь одного — быть сброшенным взрывом на снег. Но вот танки въехали в какое-то большое село, и после непродолжительной стоянки капитан скомандовал слезть всем — на рассвете танки пойдут в атаку.

Что ж, пришлось слезть. Село горело после недавней бомбежки, которой была свеже и жестоко обезображена улица. Какой-то боец помог мне доковылять до более-менее сохранившейся мазанки, и, войдя в нее, я свалился на кровать в углу. Здесь уже кто-то

лежал, наверное раненый, солома в кровати показалась мне мокрой, но только я прилег на краешке, как сразу же и уснул, словно провалился в забытьи.

Как и все эти суматошные дни, пробуждение наступило от сильной стрельбы на околице, и я вскинул голову. Брезжил первый рассвет, из поредившейся темноты проступали убогие пожитки этой покинутой хатенки: стол, кровать, опрокинутая скамья на полу. Мой сосед не обнаруживал признаков жизни, и я толкнул его локтем, тут же, однако, испугавшись — рядом лежал человек в сизой немецкой шинели с двумя офицерскими знаками на узком, отороченном галуном погоне. Под ним в соломе стояла лужа крови, испачкавшей полы моей шинели. Немец был мертв. Тем временем стрельба приблизилась: несколько пуль ударило в стену, от которой на кровать брызнуло сухой штукатуркой. Поняв, что поблизости завязывается что-то скверное, я сполз с кровати и доковылял до дверей. В сенях было темно, в углу возле входной двери был сколочен сусек, полный картошки, и я вытянулся на нем, изготовив свой пистолет.

Бой в селе разгорелся с новой силой. Послышались крики, кто-то пробежал по улице. Вскоре там раздались гранатные разрывы — скверный признак того, что немцы ворвались в село. Сквозь щель в дверях мне виден был залитый взошедшим солнцем заснеженный двор — началось ядреное морозное утро. В свете этого утра за стеною мелькнула тень, послышалось усталое дыхание, и дверь передо мною резко распахнулась. В ее проеме возникло молодое лицо человека в немецкой каске с биноклем на груди. Одной рукой он открыл дверь, а в другой держал автомат. Нас разделяли каких-нибудь три метра, я был готов, мой пистолет был направлен в середину его груди, и я мог выстрелить тотчас же. Немцу же для очереди предстояло бросить дверную ручку и другой рукой подхватить автомат. Но я промедлил секунду, а немец, отсутствующе взглянув на меня, выпустил дверь и побежал дальше, туда, где слышались немецкая речь, крики и топот сапог. Так я подарил ему жизнь, впрочем, как и он мне тоже. А скорее обоим

нам подарило жизнь солнечное утро, наверное, не давшее ему ничего увидеть в темном закутке. Я запахнул дверь и с пистолетом в руке стал терпеливо дожидаться развязки этого суматошного боя.

К полудню развязка все-таки наступила. Наша пехота выбила немцев из села и продвинулась дальше. Я выполз на улицу, кто-то из пробегавших бойцов показал, где искать их полковую санчасть. Когда мы с одним раненым техником-лейтенантом добрались до нее, снова налетели «юнкерсы» и обрушили на село контейнеры мелких осколочных бомб. Снова все заполыхало кругом, задымило, загрохотало. Девушка — лейтенант медслужбы, съежившись от близких разрывов, на полу санчасти торопливо заполняла на раненых карточки передового района — перевязывать раны уже не было возможности. Когда очередь дошла до меня, записав звание и фамилию, спросила номер полка и, услышав в ответ незнакомые наименования, удивилась.

— Это не нашей части.

— Где он ее найдет теперь эту свою часть? — сказал техник-лейтенант.

— А это не мое дело.

Без карточки передового района эвакуироваться в госпиталь было невозможно, и я приуныл. Но тут «юнкерсы» сыпанули на село очередную партию бомб, из хаты разом выскочили все окна, и девушка, смягчившись, бросила мне карточку.

Так, в общем, закончилась для меня эта не слишком выдающаяся эпопея — обычная солдатская история, несколько дней войны со смертями, кровью, успехами и, как сказали бы теперь, досадными срывами. Тому, кто воевал на переднем крае, особенно в пехоте, не раз приходилось переживать подобное. Иным доставалось и больше.

В январских боях под Кировоградом остался почти весь наш батальон, а может, и весь полк даже. Хоронили погибших не скоро, когда фронт откатился к Бугу и степь освободилась от снега. Жители окрестных сел собрали там пролежавшие зиму тела наших бойцов и свезли в братскую могилу в Северинке. Наверное, там же подобрали и мою полевую сумку

с некоторыми бумагами. Это дало основание предположить, что ее хозяин тоже остался поблизости. В той же братской могиле оказался и мой командир роты лейтенант Миргород, имя которого носит теперь пионерская дружина местной школы. Недалеко от тех мест похоронен командир нашего батальона капитан Смирнов, ненамного переживший своего командира роты, по соседству с ними покоится прах командира полка майора Казаряна, скончавшегося от ран в медсанбате.

Неискушенному в войне, тем более молодому человеку, может показаться, что наши разрозненные усилия были бесцельными, а наше малоуспешное сопротивление немецким танкам бессмысленным. Но это не так. Пока раненые, а также лишенные противотанковых средств и должной организованности бойцы тыловых служб вели спорадические бои с немецкими танками, сковывая их маневр и отвлекая на флангах, ударная группировка наших войск под командованием генерала Ротмистрова упорно окружала Кировоград, в итоге принудив немцев к отходу.

Тогда нам все это казалось по-разному, но теперь видится все яснее: наши жертвы были не напрасны, каждая капля крови, пролитой на поле боя, так или иначе приближала нашу победу, потому что в той войне и нашем ожесточенном единоборстве перевешивала лишь чаша, до краев наполненная человеческой кровью. Миллионы человеческих жизней — красноречивое тому свидетельство. Может быть, именно поэтому на нашей стороне оказалась победа, значение которой непреходяще для человечества.

1985 г.

БОЛГАРИЯ — БЕЛОРУССИЯ

Благословенная страна Болгария с ее замечательным по своей доброте народом впервые явилась в мою судьбу в предпоследний год Великой войны, и в ту драматическую пору для солдатского сердца не было милее уголка в Европе. В памятный сентябрь сорок четвертого мы навека разломили хлеб самой

искренней дружбы и увидели, какую бездну добра вмещает в себе благородное сердце болгарина. Конечно, нетрудно догадаться, откуда эта щедрость на дружбу — она в драматизме исторического прошлого народа, и в этом смысле мы не можем не заметить поразительную общность исторических судеб болгар и белорусов. Все тяжелейшие испытания, выпавшие на долю болгарского народа, близки и понятны белорусам, тоже полной чашей испившим на своем веку и многовековой гнет, и национальное истребление, и нравственное и духовное закрепощение. Надо ли говорить, как это объединяет и сплачивает.

Если коснуться литературных связей, то в последнее время они так крепки и многообразны, как никогда прежде. Первооткрывателями в этом деле явились два болгарских литератора Найден и Георгий Вылчевы, многое сделавшие для популяризации белорусского художественного слова в Болгарии, а также наш замечательный белорусский поэт, нынешний руководитель Союза писателей республики Нил Гилевич, Болгария для которого стала второй благословенной родиной. Именно этим писателям принадлежат первые переводы с братских литератур и первые строки о братских народах. С тех пор прошло почти четверть века, и теперь десятки белорусских литераторов переводят на родной язык болгарское слово, а десятки болгар отвечают им тем же. Широкую популярность в Белоруссии приобрели переводы с болгарского В. Никифоровича, В. Анискевича, В. Кулешовой.

Недавно в Минске вышла отдельной книгой «Белорусская поэма» — произведение, написанное по-болгарски и переведенное на белорусский язык. Для меня лично она очень дорога, эта полная мудрой скорби поэма, и тому много причин. Во-первых, она о моем родном крае — Ушаччине, славном своим партизанским прошлым, во-вторых, строй ее поэтических чувств необыкновенно близок и понятен каждому из белорусов, в-третьих, ее создал замечательный болгарский поэт и мой друг Стефан Паптонев, а перевел на родной язык один из самых талантливых мастеров нашей поэзии и мой белорусский друг — Рыгор Бородулин.

Надо ли говорить, какой это прекрасный взнос в и без того никогда не скудевшую копилку нашей благородной дружбы.

Пусть же она не померкнет в веках!

1981 г.

ЗНАТЬ ТО, О ЧЕМ ПИШЕШЬ...

Художественное осмысление сущности народной жизни во всем ее неповторяющемся разнообразии и составляет, по-моему, главную художественную задачу искусства социалистического реализма. При этом, мне кажется, следует исходить из обязательности признания именно факта неповторяющегося разнообразия жизни, в которой в каждый данный момент происходит непрекращающееся взаимодействие различного рода характеров, воплотить которые в литературе может лишь образ. Но очень непросто это — посредством одного выразить другое, да еще с необходимой для реалистического искусства глубиной и точностью. Для этого мало обладать литературным талантом — надо еще очень многое знать, глубоко чувствовать и верно разбираться зачастую в запутанных жизненных связях, процессах и явлениях.

Существует парадоксальное на первый взгляд мнение, будто для того, чтобы верно выразить дух времени, нужно отойти от этого времени на расстояние, так как с расстояния все видится четче. И действительно, всякая современность трудноуловима для типизации. Гораздо податливее и послушнее время ушедшее, с его устоявшимися ценностями и обкатанными реалиями. Но вот, читая ныне некоторые произведения на тему прошлой войны, невольно замечаешь, как при всей несомненности многих положений и канонизированной обязательности определенных реалий все-таки в них отсутствует нечто большое и значительное, без чего эти произведения просто не впечатляют, хотя речь идет о самом, может быть, главном для любого живущего — борьбе за жизнь.

Да, реалий и остродраматических ситуаций там, может быть, предостаточно, но откуда авторам взять

душевной наполненности, психологической достоверности чувства, которые невозможно имитировать, но надобно пережить. Вот почему на вопросы молодых литераторов, родившихся после победного мая 1945 года, можно ли невоевавшим писать про войну, я отвечаю: можно, но лучше не надо. Литература, кино, телевидение сейчас в состоянии снабдить вас полным набором расхожих ситуаций и штатных деталей, но никто не внушит вам чувств, которые вы не испытали и которые, может быть, и составляют самое существенное в данном художественном произведении.

Именно верность в передаче человеческой психологии, сила страстей и высота справедливости идеалов отличают лучшие произведения литературы социалистического реализма на тему прошлой войны. Вспоминая теперь многие обстоятельства появления так называемой второй волны военных прозаиков, нельзя не признать того факта, что главным в их повестях и романах, заставивших заволноваться критиков и читателей, была все-таки с неожиданной полнотой обнаруженная и доподлинно переданная психология солдата в бою. Адамович, Астафьев, Бакланов, Богомолов, Бондарев, Гусаров, Носов создали книги, где незаурядный талант их авторов, счастливо переплетаясь с недюжинным личным военным опытом, принес удачу принципиального значения. В них мы находим поразительную сложность и неимоверную трудность военной судьбы, самоотвержение и героизм — весь комплекс правды самой кровавой, но и самой справедливой из войн, выпавших на долю нашего народа.

Как известно, всякое прогнозирование связано с той или иной степенью риска, но в данном случае, кажется, меньше всего рискуя ошибиться, можно утверждать, что лучшие произведения указанных выше и некоторых других авторов о войне на долгие годы останутся в золотом фонде литературы социалистического реализма. Потому что в них есть психологическая точность и большая правда о времени, которое никогда не изгладится из человеческой памяти.

1979 г.

ЗА СЧАСТЬЕ НАДО БОРОТЬСЯ

В наше время впервые за свою историю человечество получило реальную возможность навсегда устранить угрозу войны и жить в мире, который, как никогда, нужен сейчас, ибо не существует другой альтернативы всеобщему миру, кроме всеобщего уничтожения.

Если посмотреть на многовековое прошлое культуры народов, то можно увидеть, что художники-гуманисты всегда были против войны, больше всего их заботили проблемы мира. Но далеко не всегда они имели хоть какую-либо возможность устранить угрозу очередной войны, потому что были разобщены, нерешительны, отягощены классовыми, сословными, религиозными и прочими предрассудками, мешавшими им сказать свое решительное «нет» войне.

Мы же теперь имеем такую возможность.

Эта возможность опирается на волю народов, волю демократических сил, лучших представителей прогрессивного человечества, понимающих всю пагубность новой войны и сознающих личную ответственность перед историей, человечеством и собственной совестью.

Лучшие художники мира и Страны Советов не перестают отстаивать мир письменно и устно, в художественном творчестве и публицистике. Но кто может сказать, где предел этой неустанной работе? Давно и хорошо известно, что мир не утверждается сам собой, что за него надо бороться, потому что существуют человеконенавистники всех мастей, которые готовы ввергнуть человечество в пучину новой, невиданной по своим разрушительным последствиям войны. Вместе со всеми честными людьми мира писатели должны решительно возвысить свой голос во имя защиты жизни на земле.

Совершенно очевидно при этом, что прочного мира невозможно добиться без полного взаимопонимания между людьми. На путях к мирному сосуществованию все еще стоит множество различных предрассудков, вытекающих из длительной разобщенности различных культур. Литература — одно из испытанных

средств разрушения этих предрассудков, укрепления взаимопонимания между народами. Но в укреплении такого взаимопонимания нуждаются и сами литераторы, чье личное общение и регулярные контакты в самых разнообразных формах также служат благородной идее мира. Вот почему становится совершенно бесспорной необходимость той встречи, которую намечено провести в Болгарии.

Эта встреча, предполагающая большой разговор о мировой культуре и судьбах человечества на нашей планете, внесет также свой несомненный вклад в дело разрядки напряженности, предпринятой, как известно, по инициативе Советского Союза. Кому, как не нашему народу, стоять в авангарде этой разрядки, кто еще может сравниться с ним по безмерности испытаний и количеству жертв, принесенных во имя мира в прошлой войне? Мы лучше всех на этой земле представляем весь ужас войны и поэтому так ценим мир.

Конечно, ничто не дается легко, особенно такое многотрудное дело, как отстаивание мира на планете, до предела начиненной оружием и разделенной на множество перегородок. Здесь неизбежны свои трудности и свои проблемы. Но честные писатели всех континентов должны выразить свое отношение к этим проблемам, без разрешения которых человечество попрежнему будет балансировать на шаткой грани между войной и миром.

1977 г.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Интервью для газеты
«Дойче Фольксцайтунг ди тат»

Всякая агрессивная война уже по своей природе направлена против человека, который для нее — лишь средство, материал преступной политики тех, кто обанкротился в этой политике, ведя ее мирными средствами. Но прежде чем вовлечь в свою круговерть

человеческую жизнь, воина стремится покончить с культурой, потому что культура и ее вековые традиции уже фактом своего существования противостоят военному угару. Все самое ценное, накопленное народами в течение столетий мирного развития, быстро обесценивается, а оставшиеся крохи культуры пересматриваются и переоцениваются агрессором с расчетом адаптации их для своих целей. Такая война пожирает прошлое народное, лишает человека истории еще до того, как лишить его физического существования в мире.

И даже после ее окончания надобно длительное время, чтобы изжить ее следы на земле и в народном самосознании, психология ее живет долго; в той или иной форме ее следствия продолжают влиять на формирование будущего.

Вот почему тема минувшей войны на протяжении десятилетий не уходит из белорусского искусства, питает нашу литературу. И тут нет какой-либо заданности или преднамеренности — есть боль, не покидающая душу народа, который потерял за годы войны четверть своих людей — каждого четвертого жителя Белоруссии.

С началом войны обрываются всякие культурные связи между воюющими сторонами. То, что в области культуры естественно формировалось в течение столетий, расторгается за несколько недель. Надо сказать при этом, что честная интеллигенция обеих сторон болезненно переживает этот разрыв, который безусловно пагубно влияет на самочувствие обеих культур, особенно если популярные и уважаемые деятели культуры вольно или невольно оказываются в неправом лагере. В этом отношении показателен пример хотя бы норвежца Кнута Гамсуна, чьи романы были любимыми в мире до того момента, как их автор оказался коллаборационистом фашизма. (Известно, что читатели возвращали Гамсуну его книги, швыряя их через ограду усадьбы писателя.)

Правда, и в годы войны, несмотря на нашествие на наши земли дивизий вермахта, мы старались сохранить объективность и не распространять нашу ненависть, так сказать, ретроспективно. Гёте, Гейне,

Томас Манн всегда были и оставались для нас великими немцами, отношение к ним не изменилось с годами. Но драматизм момента в данном случае состоял в другом: миллионы наших людей на оккупированных территориях вынуждены были судить о немцах и немецком народе не абстрактно и не исторически, а весьма конкретно: ежедневно наблюдая за бытом, поведением и нравами фашистской солдатни, когда трудно было удержаться от того, чтобы эти далеко не джентльменские нравы не экстраполировать на весь германский народ. Лишь умные или образованные люди могли до конца сохранить объективность и понимать, что наглый фашистский фельдфебель — это еще не немец, то есть он сначала фашист-солдафон, а потом уже незадачливый представитель великой и культурной нации Европы, которую он предал позорнейшим образом.

Мне хорошо памятен случай, который я имел намерение использовать в своей прозе, но пока не использовал непосредственно. Суть его состоит в том, что осенью сорок первого года, когда вермахт приступил к ликвидации еврейского населения в малых городах Белоруссии, один старый сельский учитель, человек очень воспитанный и интеллигентный, знавший немецкий язык и читавший Шиллера в оригинале, потрясенный трагедией уничтожения тысяч безвинных жителей местечка, отправился к немецкому коменданту с целью открыть ему глаза на всю бесчеловечность действий властей. В противоположность учителю комендант оказался невежественным солдафоном из тех немцев, которые до 33-го года были представителями люмпен-пролетариата, а с приходом Гитлера к власти сделали военную карьеру. Комендант долго не мог взять себе в толк, чего хочет этот старик белорус. Его, конечно, удивило, что тот неплохо говорит по-немецки, но — культура?.. Традиции — христианские и гуманистические? Гёте и Гейне? Коменданта, конечно же, не слишком заботили проблемы культуры,— он был поглощен выполнением приказа командования относительно «окончательного решения еврейского вопроса». Ему очень досаждали эти местечковые евреи, которые бесконечно изворачивались,

лгали и не подчинялись его требованию дружно и организованно идти в яму, и его солдатам приходилось немало поработать, чтобы добиться повиновения. Что же касается Гейне, то тот — «сам жид», об этом ясно было написано в газете «Дас шварце корпус», которую регулярно читал комендант, так кого же защищает этот взволнованный и плохо одетый интеллигентишка из местных? Уж не шпион ли он, подосланный комиссарами? И чтобы разом разрешить сомнения и покончить с «заумной болтовней», комендант приказывает пристрелить и учителя. Благо тот не убегает и не сопротивляется. В еврейской шеренге, уже уложенный для расстрела в яму, он лег последним, с самого края.

Да, война и культура — несовместимы, они существуют в различных сферах и разговаривают на разных языках. В течение тысячелетий выработанные общечеловеческие истины чужды для войны и непостижимы ею.

К счастью, фашистская эпоха в Германии, хотя и была кроваво-жестокой, но оказалась непродолжительной, немецкий народ все же сумел сохранить здоровое самосознание, и хотя рецидивы нацизма время от времени дают о себе знать в современном германском обществе, в целом немецкий народ знает, где и с кем его будущее. В Мюнхене, Кельне, Эрлангене, Западном Берлине я видел антивоенные и антифашистские демонстрации — грандиозные народные манифестации, дух и стремление которых были мне близки и понятны. Я присутствовал на многолюдном митинге в Западноберлинском политехническом институте, приуроченном к пятидесятилетию захвата Гитлером власти в Германии, и выступал там. Тысячи немцев горячо аплодировали речам немецких антифашистов, польских узников Освенцима, молодых пацифистов. Это было, может быть, кратковременное, но поистине монолитное сплочение людей разных мировоззрений и национальностей во имя мира и культуры.

Мне не однажды приходилось говорить, что советская, так называемая «военная» литература,— это не упоение войной, а не утихающая во времени

боль от нее. Боль за погибших, скорбь по утраченному.

В том числе и в области культуры. Ведь многие из наших культурных ценностей, разрушенных войной, восстановить уже невозможно. Да, мы отстроили свои города и села, многие из них выглядят теперь лучше, чем прежде, как, например, столица республики Минск. Но прежний, исторический, облик ряда белорусских городов, как, например, древнего Полоцка, недавно отметившего свое 1100-летие, безвозвратно утрачен, и надо ли говорить, какая это чувствительная утрата для исторического самосознания народа. Города без древнего центра, как бы современно и благоустроенно они ни выглядели, все-таки лишены необходимой для них души. Утраты такого рода отлично чувствовал наш недавно умерший белорусский прозаик Владимир Короткевич, в романах которого много от ностальгии такого рода, и его очень любит и понимает современная молодежь.

В нашей «военной» литературе нет «упоения» войной, любования кровью и смертью — все это ей чуждо в своей основе. Но мы воспеваем в солдате прошлой войны красоту его духа, его благородную способность пожертвовать собой ради жизни товарищей (Григорий Бакланов), любви к женщине (Виктор Астафьев) и даже ради мирных жителей-немцев (Юрий Бондарев). Мы свято храним традиции русской классики (Лев Толстой, Федор Достоевский), ее уроки и ее позиции находят у нас многих последователей среди разных поколений писателей. Я, например, исхожу в своей прозе из элементарнейшей из толстовских посылок, которая, будучи несколько перефразированной, выглядит так: о войне, какой бы трудной она ни была, надо писать правду и всю правду, какой бы она ни была горькой. Правда в гуманистическом искусстве всегда однозначна и несет человечеству только добро. Именно такая позиция служит залогом того, что наша военная литература и впредь будет по сути своей антивоенной и сугубо гуманистической.

В этом смысле нам близок антивоенный пафос произведений замечательного и широко популярного у нас Генриха Бёля, или мятежного Гюнтера Грасса,

или Германа Канта, Дитера Нооля и многих других авторов обеих Германий,— гуманистов и пацифистов.

Конечно, как в ФРГ, так и в СССР выросло поколение, родившееся после кровавой войны, о которой оно знает только по книгам, кино да по рассказам родителей, людей старшего возраста. У этого поколения свои, часто довольно затруднительные проблемы, требующие для их разрешения немалых усилий общества и государства. Но мы говорим, что ни одно поколение не вправе забыть об ужасах и уроках минувшей войны уже хотя бы потому, что человечество должно знать, кому оно обязано своим существованием. К тому же у нас в ходу известная истина, что каждая новая война начинается именно тогда, когда люди начинают забывать о войне предыдущей. Ведь уроки истории ничему не учат, как сказал один из великих немцев, и в общем это справедливо как констатация факта. Так всегда было в истории, но в наше время так быть не должно. Как только человечество начнет забывать об уроках недавнего прошлого, оно будет ввергнуто в катастрофу, после которой уже ничего не останется. Кроме вечного льда и хаоса на мертвой земле.

На закате жизни свойственно вспоминать о прошлом, в том числе о войне и победном дне 9 мая 1945 года, который я встретил в австрийском городке Ротеннамане на реке Энс, где войска Третьего Украинского фронта соединились с американским авангардом. Мы славно отметили эту долгожданную встречу, обменивались с американскими пехотинцами подарками и адресами, клялись в вечной дружбе. Жаль, что все это оказалось столь же кратким, как и иллюзорным. Но не по нашей вине. В том, что произошло вскоре в наших отношениях, менее всего повинны наши солдаты, впрочем, как и американские пехотинцы. Я уверен, что те с таким же воодушевлением вспоминают тот день и нашу встречу на берегах горной реки, нянчат внуков и жаждут мира. Как его жаждем мы. И как его жаждут немцы обеих Германий, в этом я уверен тоже. Можно даже сказать, что весь мир жаждет мира, мир ненавидит войну, но между чаяниями

народов и осуществлением этих чаяний стоит древнее чудище — с т р а х.

Что может быть благороднее и возвышеннее для культуры, чем содействие в преодолении этого чудища, — во имя благополучия, культуры — во имя ж и з н и!

1985 г.

НАША СИЛА И ВОЛЯ

Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы войны, величие нашей победы над немецким фашизмом. Трудно переоценить ее значение в истории, ныне уже видно, что на ее фундаменте возведено все настоящее, а быть может, и будущее человечества. И теперь, когда снова зыбким стал мир на земле, когда силам агрессии и разбоя снова неймется, мы вспоминаем недавние уроки, преподанные людям войной, и утверждаемся в уверенности нашей правоты — правоты дела мира.

Одной из многих замечательных черт минувшей войны была народность ее характера, когда за общее дело — на фронте, в промышленности и сельском хозяйстве, в партизанском тылу, — боролись все, от мала до велика. Пусть не все рисковали в одинаковой степени, но все отдавали себя, свое мастерство, опыт и труд во имя грядущей победы, которая обошлась нам очень дорогой ценой. Колоссальное напряжение всех физических и духовных сил народа, огромные материальные затраты, двадцать миллионов человеческих жизней — вот плата советского народа за его самую трудную и замечательную в веках победу. Солдатской же платой, личным взносом бойца во имя грядущего часто оказывалась его собственная жизнь, расстаться с которой было очень нелегко, но, как нередко случалось, иного выхода не было. И миллионы молодых, да и постарше людей — мужчин, парней, женщин — приняли смерть, ясно сознавая, что, как бы ни была дорога для них жизнь, судьба Родины и человечества несравненно дороже.

Да, солдат погибал просто и безропотно, честно и до конца исполняя свой долг, и только в душе его, может быть, последней предсмертной мыслью было сознание вопиющей безвременности этой его гибели. Можно представить себе весь трагизм ее летом сорок первого года, когда таким расплывчато-неопределенным казалось ближайшее будущее, столь огромной была опасность для Родины, и погибавший, как бы ни уверовал он в нашу победу, не имел даже представления о сроках ее осуществления, не знал, сколько продлится война и какой отрезок заняла в ней его собственная жизнь — половину, четверть или того меньше. А главное, так мало тогда, в сорок первом, было побед и так много отчаяния.

Непросто было умирать и в середине войны, когда чаша военной удачи предательски колебалась то в одну, то в другую сторону, и впереди лежал такой долгий, кровью политый путь — от Волги до Эльбы. К тому же в это переломное время уже явственно определилась наша боевая сила, возросло военное мастерство; в годы Сталинградского сражения и Курской битвы мы уже научились воевать на равных, хотя эта наука и далась нам чересчур большой кровью. Но именно в трудных победных битвах многие расставались с жизнью, горестно сознавая, что сделали для победы далеко не все, что могли бы сделать, что так не вовремя обрывается их полная силы жизнь, что теперь, когда есть умельство, пережит страх и обретена решимость, именно теперь появилась возможность бить врага наверняка. С такими или похожими мыслями они уходили от нас навсегда. Спустя много лет, глядя на пожелтевшие фотографии этих рано повзрослевших парней в гимнастерках с петличками на воротниках, редко и скупо награжденных, затрудняешься, что подумать. То ли следует им позавидовать в том, что они волей военной судьбы сошли с половины пути, на котором столько еще пришлось пережить, перестрадать и стольким погибнуть на своей и чужой земле или, может, посочувствовать: стольких победных радостей лишились они, не дойдя до весны 45-го. Ну а те, что погибли на самом исходе войны, в сорок пятом? Ведь именно в этот год больше чем когда-либо

прежде начали мы задумываться о будущем, пытливо стремясь заглянуть за черту, которая вот-вот должна была разделить войну с миром. Оставалось совсем немного, шли бои в сердце Германии, окружали Берлин, штурмовали рейхстаг. И на каждом огненном метре погибали, пройдя тысячи километров к желанной цели и не добежав жалкие метры до мира, уцелев на войне долгих четыре года и не дожив нескольких коротких часов до ее окончания. Горестное сознание этого *надо,* чем ближе к концу войны, тем острее вонзалось в солдатское сердце, но и оно не могло задержать всеобщий порыв, остановить последний рывок в атаку, смертельный бросок на вражеский бункер. Следует заметить еще, что к этому времени мы уже своевались, сработались, притерлись, а то и сдружились с теми, кто был с нами рядом. К концу войны, как никогда прежде, окрепло фронтовое товарищество, и, быть может, потому каждая потеря бойца в общем строю, кроме привычности безвозвратной потери, была еще и горькой личной утратой для многих товарищей по оружию.

У меня хранится старенький, военных лет снимок, наспех сделанный где-то в тылу на формировке, изрядно потертый за годы в нагрудном кармане гимнастерки. На нем четыре офицера, командиры рот и взводов, ни одному из которых не посчастливилось дожить до победы. Первый из них очень скоро погиб на Днепре, последний пал в Австрийских Альпах двадцать седьмого апреля 1945 года. Я вглядываюсь теперь в их молодые лица и хочу прочитать в их устремленных в объектив взглядах нечто такое, чего не замечал прежде, но что должно открыться ныне, спустя годы после их гибели. Это плохо мне удается, потому что у всех четверых очень будничное выражение лиц с, может быть, чуть притаенной горчинкой от нелегкой их доли, ушедшей в себя тревоги за будущее. Но ни просьбы, ни жалости, ни упрека. И это понятно. В момент фотографирования они жили общими для живых делами, текущими заботами, и хотя солдат всегда готов к самому худшему на войне, он старается о том не думать.

Взгляды погибших могут выражать мало или не

выражать ничего, но мы, волею судьбы или случая выжившие, ставшие более чем вдвое старше и, надо полагать, мудрее, мы обязаны увидеть в них то сокровенное, что так дорого было для них и в равной степени важно для нас сегодня.

Прежде всего мы обязаны разглядеть их молчаливую просьбу помнить, не забыть в смене лет их имена и их дело, поведать потомкам о смысле их жизни и особенно — их безвременной смерти. Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем, по крупицам уносящим в забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и существенное. Не зафиксированная в документах, не осмысленная искусством история и исторический опыт людей очень быстро вытесняются из памяти вереницей текущих дел и событий и навсегда утрачиваются из духовной сокровищницы народа. В годы войны, когда человеческая жизнь нередко была лишь средством к великой цели, не суть важным казалось имя человека, упавшего рядом, достаточно было знать, что это свой, и единственной заботой живых было вовремя предать земле павшего. Второпях, в горячке боев мы ограничивались словами известной эпитафии на фанерной табличке под такой же фанерной звездой; иногда лишь по размерам насыпи на братской могиле можно было приблизительно судить о количестве в ней похороненных. Но вот впоследствии стало понятно, что нельзя человеку без имени — живому, а тем более павшему. Усилиями общественности и следопытов теперь восстановлены имена даже на самых глухих захоронениях, и в этом заключен справедливый и глубоко гуманистический смысл. Всякий рожденный под солнцем должен быть отличим от себе подобного, иметь собственное лицо; лежащий же в братской могиле тем более. Ведь имя на обелиске — это последнее, что остается от бойца в жизни, и в нем единственная его безмолвная просьба к живым — не забудьте!

Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понимаем, как нам нужно знать о них по возможности больше. У каждого из них была малая их родина,

были родители, были их пусть мало значащие ныне для нас дела на заводе, в колхозе, связанные с ними малые и большие заботы. Вспомнить о них — долг живущих друзей, однополчан, земляков. На фронте нередко случалось, что в трагической обстановке окружения, тяжелых боев, прорыва были совершены подвиги, но ни совершивших их, ни свидетелей не осталось в живых, и мы ничего не знаем, а может, никогда и не узнаем о безвестных героях. Но уж если кто-то остался жить, пройдя через муки плена, госпитальные страдания, может, не вернувшись более не только в свою часть, но и в действующую армию, было бы непростительно, если бы он не поведал людям о подвиге, свидетелем которого оказался. Неважно, что память не уберегла имя героя, или тот был совершенно незнакомый боец — после войны сохранились архивы, подшивки газет, документы, не убывает энергии у молодых следопытов, они распутают самые запутанные клубки прошлого.

Во сколько бы лиц погибших вы ни вглядывались, мне кажется, редко в котором из них так или иначе не прочтется немой, как укор, вопрос к нам, живущим: а вы как? Какие вы нынче? Те, что уцелели и так долго живете после нашей, кровавой войны? Великое множество оттенков и смысла заключено в этом невысказанном вопросе, и для меня лично он — самый трудный и самый обязывающий. При всей его неопределенности он самый взыскующий и категоричный. А что он подразумевается, этот вопрос, я не только чувствую, но знаю наверняка: сам на их месте обратился бы к живым прежде всего именно с этим вопросом. Он самый существенный из всего, что может связать во времени мертвых с живыми.

Время, к сожалению, безжалостно не только к человеческой памяти, столь же немилосердно оно ко всему, что составляет сложную область человеческих отношений. Прекрасная вещь фронтовое братство, замечательно, если оно сбереглось от разрушительного воздействия лет, сохранилось поныне. Но известно немало случаев и другого рода, когда некогда прочная фронтовая дружба не выдерживает испытания временем, рушится под натиском неблагоприятных для нее

обстоятельств, иссякает, хиреет. Впрочем, все это объяснимо: со временем меняемся мы сами, необязательно становимся хуже,— становимся иными, и то прежнее, что связывало нас на фронте, что нам казалось нетленным, дорогим и важным, более не кажется таковым. Очевидно, тут нет ничего предосудительного, такова человеческая природа. Но как важно, чтобы это изменение, если уж оно неизбежно, происходило бы в сторону улучшения, нравственного совершенствования, а не к ухудшению — очерствлению, гипертрофии себялюбия, раздражающей неудовлетворенности окружающим. Отстоять от разрушительного воздействия времени духовное Я человека, сберечь идеалы нашей фронтовой молодости, до конца дней остаться верными духу товарищества, дружбы, сохранить готовность в любой момент ринуться в бой за правое дело — разве не этот безмолвный призыв сквозит во взглядах наших оставшихся вечно молодыми товарищей?

В праздничные весенние дни тысячи постаревших ветеранов появятся на улицах, пройдут в колоннах демонстрантов. Грудь многих из них украсят награды, у кого больше, у кого немного меньше — это все символы умения, храбрости и мастерства, проявленных в жестокой борьбе с врагом. Но есть и другие, печальные символы, принесенные живыми с войны,— искалеченные тела. Даже если у этих людей меньше наград (бывает и так), их шрамы — свидетельства их боевого вклада, их риска и бесстрашия в смертельной стычке с фашизмом. Во время всенародного праздника им первый поклон, первое слово, наш первый братский привет.

Как известно, на войне место в боевом строю не выбирают. Государство превращается в единый боевой организм, где каждый гражданин занимается только своим, предназначенным именно ему делом. Разная у каждого работа, разные воинские обязанности у солдат и командиров. Ветераны сегодня точно и по заслугам оценивают каждого из своих товарищей, выделяя, однако, самых достойных уважения. Мы отдаем должное таранному могуществу танкистов, которые шли впереди в самую гущу огня и нередко

кончали жизнь в кострах из солярки среди поля боя; летчикам — истребителям и штурмовикам, что немало помогали пехоте. Многое сделали для победы артиллеристы и минометчики.

Но в радостный день нашей долгожданной Победы самый низкий поклон пехотинцу, бойцу стрелкового полка, что прошел... нет, не войну (как ни странно, в пехоте войну не проходят), хотя бы часть той войны под скорострельным огнем немецкого оружия, под бомбовыми ударами «мессершмиттов» и «юнкерсов», выдержал под гусеницами «пантер» и «тигров», под густым градом минных осколков, взял на своем пути до Берлина бесчисленное множество деревень, высот и развилок, под адским огнем форсировал десятки малых и больших рек, изнемогал под жарким солнцем в пыльной степи, замерзал на лютом ветру в зимнем поле, бил врагов из своего ППШ или «драгунки» и все же выжил, не дал уничтожить себя. Не уменьшая заслуг воинов других родов войск, их вклада в победу, я выделяю все же именно его — пехотинца минувшей войны, далеко не бравого вида солдата в помятой, запачканной глиной шинельке, в обмотках на ногах, часто полусонного, вконец измученного, с не дожеванным куском зачерствелого хлеба в противогазной сумке, притерпевшегося к своей тяжелой доле, но всегда готового по свистку ротного кинуться в огонь — навстречу гибели или победе. Когда вы встретите в такой день пехотинца — бывшего солдата, сержанта, младшего офицера стрелкового полка,— поклонитесь ему до земли: подвига более героического не найти в веках.

Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма — целая эпоха в истории нашей страны, блестящая страница ее героического прошлого. Она забрала бесчисленное множество человеческих жизней, разрушила сотни поселков и городов. И хотя за послевоенные годы все восстановлено и отстроено, облик земли стал красивее, чем прежде, невидимые следы войны еще остаются в сердцах и душах людей. Еще живут те, кто потерял на этой войне своих близких,— в одиночестве доживают век осиротевшие старики, братья и сестры, выросли без роди-

телей дети. Видимо, и трети столетия мало, чтобы затянулись все душевные раны. В одной только Белоруссии погиб каждый четвертый из ее жителей, а в некоторых областях (например, Витебской) погиб каждый третий. Если же взять мужское население этой области, то после войны тут недосчитались половины мужчин. По существу, погибли все взрослые мужчины Витебщины, которая до сих пор не достигла довоенной численности жителей. Потери такого масштаба, понятно, не могут не отразиться на современном развитии экономики. Они создают сложные проблемы нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве и на производстве, накладывают дополнительные обязанности на тех, кто трудится. Еще долго тут будут помнить войну.

Глубинная сущность народного подвига в минувшей войне является животворной темой современного искусства. О жизни человека на войне поставлено немало прекрасных фильмов, созданы замечательные произведения литературы. Одним из важнейших критериев в оценке произведений на тему войны является сохранение меры и такта в отношении к правде войны, ее участникам — живым, но главным образом убитым. Есть ли нужда говорить, насколько недопустимым в искусстве на данную тему является сочинение потешных фарсов на крови, комедий на человеческих страданиях. Но некоторые даже неплохие фильмы о войне, которые пользуются успехом у молодежи, неприемлемы для непосредственных ее участников. Случается, что фильмы о войне с надуманными и фальшивыми ситуациями ставят люди, что родились после 1945-го.

Понятно, для современного кино с его огромными техническими возможностями нет тем, которые нельзя было бы поднять, говорят, что языку кино все доступно. Но в этой теме, которая все еще сочится кровью, мне думается, было бы уместно руководствоваться нравственным доводом вроде: можно, но надо ли?

Психологическая углубленность, точный и строгий реализм в отображении драматических, а то и трагических перипетий войны — вот единственно приемлемый путь для серьезного искусства. И у нас есть немало

примеров именно такого рода произведений, блестящих во всех отношениях, которые трогают прежде всего святой правдой огненных лет. Знаменательно при этом, что лучшие книги и фильмы не только прекрасные образцы творчества прекрасных авторов, но и одновременно свидетельства участников войны и ее очевидцев. Значение их в духовной жизни народа и влияние на народное сознание не утратится с годами независимо от того, что в них сыграет первостепенную роль для будущего — воспитательная функция или яркое и честное свидетельство о поколениях, которые вынесли на своих плечах главную тяжесть войны. Конечно, и то и другое взаимосвязано и одинаково важно. Особенно для нашего времени, когда дело разрядки напряженности оказалось под угрозой срыва, перед лицом уничтожающей ядерной катастрофы, победителей в которой, как известно, не будет. Будут зачинщики тотального уничтожения, остановить которых могут только Сила и Воля.

Сила и Воля, подобные той, что стала на пути немецкого фашизма и обеспечила сорок лет мира в Европе.

1985 г.

ЧТО ДАЕТ НАМ СЕГОДНЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ?

Ответы на вопросы журнала «Дружба народов»

1. Что за последнее время в опыте всесоюзной и мировой литературы о войне вы считаете наиболее интересным?

— На фоне огромной военной литературы создать что-либо значительное о прошлой войне, тем более поражающее новизной, становится все труднее даже для художников, обладающих несомненным литературным талантом и личным военным опытом. Тем не менее, хотя, может быть, и нечасто, и если иметь в виду последние несколько лет, то я бы назвал книгу «Каратели» А. Адамовича, роман «Плотина» покой-

ного В. Семина, несколько ранее вышедший роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого».

Это действительно не только прекрасные своей правдой вещи, не только новое слово в литературе о войне, значительно углубляющее наше знание о ней, но и новый художнический взгляд, определенная новизна авторской концепции, может быть, невозможная еще несколько лет назад. Это тот случай, когда личное знание войны и народной судьбы (В. Семин) в значительной мере подкреплено документом (В. Богомолов), когда автор соединил в себе художника и ученого-исследователя (А. Адамович), что и дало возможность создать произведения правдивые, глубокие, ни в малой степени не повторившие ничего из огромного моря созданного прежде. Сюда же, наверно, нелишне будет причислить и В. Кондратьева с его чистым и честным голосом, его словами в адрес пехоты, несколько обойденной вниманием нашей литературы о войне.

2. Возможна ли, на ваш взгляд, настоящая, серьезная литература о войне у писателей невоевавших поколений?

— Я уже пользовался возможностью высказаться по данной проблеме, но факт, что этот вопрос возникает снова и снова, свидетельствует об устойчивом интересе к нему как со стороны читателя, так и со стороны нашей журналистики. Впрочем, это и понятно. Поколения уходят в свой урочный и неурочный час, на смену им идут новые, интерес человечества к последней большой и самой кровавой войне будет еще оставаться долго. Конечно, писать о войне будут все больше и те из литераторов, которые ее лично не знали, может быть, родились после войны, и знание о ней лежит вне пределов их личного жизненного опыта. Вполне возможно, что ими также будут созданы значительные произведения о человеке на войне. Но после стольких блистательных книг, созданных на основе безжалостной и скрупулезной правды о ней, это будет не просто и потребует не только выдающегося литературного таланта, но таланта гениального. В противном случае трудно будет избежать вторичности, сочиненности, приблизительности. Впрочем,

характер такого рода творчества виден на примере современного кино о гражданской войне. Эта одна из самых драматических тем нашей истории все больше трактуется кинематографом как тема лихих приключений и романтической любви. Облегченность в изображении столь трудного и конфликтного времени происходит от стремления приспособить его проблематику для целей кино с его неуемным стремлением развлекать и забавлять. Что, впрочем, все больше ощущается и в некоторых фильмах о прошлой войне. Не хочется их называть здесь, но я думаю, они на памяти у многих зрителей-фронтовиков, неприятно пораженных их бесконечными каламбурами, комедийными пассажами, бездумным трюкачеством.

Если говорить определеннее, то я считаю, что в искусстве вряд ли возможно создать что-либо стоящее на основе незнания. Следовательно, знание, опыт совершенно необходимы даже для несомненных талантов, если они претендуют на значительные открытия в любой области искусства. Заемное же никогда не приносило успеха, об этом свидетельствует множество примеров из любой литературы.

3. Что, на ваш взгляд, является доминантой вашего творчества, соответствуют ли этому взгляду выводы критиков?

— Мне трудно исчерпывающе ответить на данный вопрос, так как я полагаю, что неблагодарное это дело — разбираться в собственном творчестве. Гораздо лучше, когда это делают другие. Тем более наши профессиональные критики, среди которых есть выдающиеся таланты, произведения которых мы читаем с не меньшим увлечением, чем художественную прозу. В этом смысле я не представляю собственного творчества без очень принципиального взгляда на жизнь и литературу критика А. Адамовича, тонкого аналитика Л. Лазарева, близкого мне по военному опыту и по отношению к тому, что мы пишем. В последние годы наша литература как бы озарилась новым, очень честным и свежим взглядом на нее Игоря Дедкова, проявившего удивительное по глубине понимание многих, зачастую подспудных ее процессов, а также

«военной прозы». Чтение статей и рецензий этого критика для меня не только благодарная работа ума, но и душевное наслаждение. Думается, что при добром и проницательном внимании этих и других критиков ничто значительное в нашем творчестве не останется втуне. Так есть ли необходимость перетряхивать свои творческие сундуки в поисках укрывшейся там от критических взглядов жемчужины? Если критики ее не заметили, то была ли она?

1982 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Колокола Хатыни. Впервые статья напечатана в сборнике прозы Василия Быкова. Москва, «Молодая гвардия», 1972.

Свидетельство эпохи. Выступление на VII съезде СП СССР. Опубликовано в «Литературной газете», 8 июля 1981 г.

Неиссякаемая щедрость ума — «Литературная газета», 6 сентября 1978 г.

Зоркость исследователя, страсть художника — «Литературная газета», 1 августа 1973 г.

В день юбилея. Впервые статья увидела свет в белорусской газете «Література і мастацтва», 5 февраля 1982 г.

Как была написана повесть «Сотников» — «Литературное обозрение», 1973, № 7.

Несколько слов об «Альпийской балладе» — «Литературная газета», 1 января 1973 г.

Слово об учителе — в белорусской газете «Література і мастацтва», 24 декабря 1971 г.

Всё минется, а правда останется...— в сборнике «Воспоминания об А. Твардовском». Москва, «Советский писатель», 1982.

Завидная писательская судьба — в книге «С. С. Смирнов. Герои Великой войны». Москва, «Молодая гвардия», 1977.

На рубежах добра и любви — «Роман-газета», 1975, № 23.

Верность памяти — «Литературная Россия», 14 сентября 1973 г.

Памяти художника — «Литературная газета», 2 июля 1979 г.

Силой любви и ненависти — «Литературная газета», 19 марта 1980 г.

На Тыняновских чтениях — «Новый мир», 1985, № 1.

Великая академия — жизнь — «Вопросы литературы», 1975, № 1.

Полотна, опаленные войной — «Правда», 4 июля 1973 г.

Главный жанр литературы — «Литературная Грузия», 1982, № 7.

Тревожное воспоминание — «Известия», 10 февраля 1978 г.

Много лет назад...— «Литературная газета», 1 января 1985 г.

Ставшее жизнью и судьбою — «Литературная газета», 22 июня 1983 г.

Все, что мы можем...— «Вопросы литературы», 1981, № 2.

Под Кировоградом — «Литературная газета», 9 мая 1985 г.

Болгария — Белоруссия — «Литературная газета», 22 июля 1981 г.

Знать то, о чем пишешь...— «Литературная газета», 27 апреля 1979 г.

За счастье надо бороться — «Литературная газета», 27 апреля 1977 г.

Во имя жизни. Интервью для АПН. Напечатано в западногерманской газете «Дойче Фольксцайтунг ди тат», 6 мая 1985 г.

Наша сила и воля — «Литературное обозрение», 1985, № 5.

Что дает нам сегодня память о войне — «Дружба народов», 1982, № 7.

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Штокман. Вечная сила правды 5
Колокола Хатыни 15
Свидетельство эпохи 21
Неиссякаемая щедрость ума 27
Зоркость исследователя, страсть художника 29
В день юбилея 38
Как была написана повесть «Сотников» 40
Несколько слов об «Альпийской балладе» 48
Слово об учителе 50
Всё минется, а правда останется 55
Завидная писательская судьба 58
На рубежах добра и любви 62
Верность памяти 66
Памяти художника 72
Силой любви и ненависти 74
На тыняновских чтениях 82
Великая академия — жизнь 85
Полотна, опаленные войной 107
Главный жанр литературы 109
Тревожное воспоминание 116
Всенародная память 120
Много лет назад... 125
Ставшее жизнью и судьбой 129
Все, что мы можем 133

Под Кировоградом 137
Болгария — Белоруссия 145
Знать то, о чем пишешь... 147
За счастье надо бороться 149
Во имя жизни 150
Наша сила и воля 156
Что дает нам сегодня память о войне?.. 164

Примечания 168

Быков В.
Б95 Колокола Хатыни / Предисл. И. Штокмана.— М.: Правда, 1987.— 176 с.

Василий Владимирович Быков (Василь Быков) — белорусский советский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Участник Великой Отечественной войны. Автор повестей «Третья ракета» (1962), «Альпийская баллада» (1964), «Мёртвым не больно» (1966), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1970), которые освещают нравственные аспекты поведения человека на войне.

В настоящую книгу вошли публицистические произведения писателя.

Б $\frac{4702120000-1521}{080(02)-87}$ 1521—87 84Р7

Василий Владимирович Быков

КОЛОКОЛА ХАТЫНИ

Редактор
В. Т. Фомичев

Оформление художника
В. А. Плотнова

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1521

Сдано в набор 06.11.86. Подписано к печати 25.02.87.
А00333. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,45. Уч.-изд. л. 8,48.
Тираж 250000 экз. Цена 35 коп. Зак. 1150.

Типография ордена Ленина комбината печати
издательства «Радянська Україна»,
252006, г. Киев, ул. Анри Барбюса, 51/2.



35 коп.

Созданием файла в формате pdf

занимался ewgeniy-new

(май 2014)